ROMAIN

GARY

РОМЕН ГАРИ ПТИЦЫ ПРИЛЕТАЮТ УМИРАТЬ В ПЕРУ



SYMPOSIUM

Птицы прилетают умирать в Перу (сборник)

Ромен Гари

Аннотация
Ромен Гари
ПТИЦЫ ПРИЛЕТАЮТ УМИРАТЬ В ПЕРУ. (сборник)
- Птицы прилетают умирать в Перу
- Лютня
- Гуманист
- Декаданс
- Подделка
- Радости природы
- Гражданин голубь
- Страница истории
- Стена
- На Килиманджаро все в порядке
- Я говорю о героизме
- Жители Земли
- Как я мечтал о бескорыстии
- Старая-престарая история
- Слава нашим доблестным первопроходцам
- Я ем ботинок
- Письмо к моей соседке по столу
- Жизнь и смерть Эмиля Ажара

Аннотация

Ромен Гари (1914–1980) — известнейший французский писатель, русский по происхождению, участник Сопротивления, личный друг Шарля де Голля, крупный дипломат. Написав почти три десятка романов, Гари прославился как создатель самой нашумевшей и трагической литературной мистификации XX века, перевоплотившись в Эмиля Ажара и став таким образом единственным дважды лауреатом Гонкуровской премии.

Почему птицы прилетают умирать в Перу? Почему женщина, чей профиль совершенен, не может полюбить? И отчего люди — даже самые отважные — со временем покрываются чешуей? Ответов нет. Но важно хотя бы задать вопросы…

Единственый сборник рассказов Ромена Гари впервые выходит по-русски отдельным изданием.

Ромен Гари

ПТИЦЫ ПРИЛЕТАЮТ УМИРАТЬ В ПЕРУ
(сборник)

Птицы прилетают умирать в Перу

Он вышел на террасу и вновь оказался один на один со своим захолустьем: дюны, океан, тысячи мертвых птиц в песке, шлюпка, ржавчина от сети, скелет выброшенного на берег кита, следы шагов, вереница рыбацких лодок вдали, там, где острова гуано своей белизной соперничали с небом. Кафе возвышалось на сваях посреди дюн; дорога проходила метрах в ста отсюда, но ее не было слышно. Сходни лесенкой спускались к пляжу; он убирал их каждый вечер с тех пор, как два бежавших из тюрьмы в Лиме уголовника оглушили его бутылкой, пока он спал: утром он обнаружил их в баре мертвецки пьяными. Он облокотился на перила и закурил свою первую сигарету, разглядывая падавших на песок птиц: некоторые из них еще бились в последних судорогах. Никто никогда не мог ему объяснить, почему они покидали острова в океане и прилетали умирать на этот пляж, находившийся в десяти километрах к северу от Лимы: они никогда не летели ни чуть севернее, ни чуть южнее, а всегда только на эту узкую песчаную косу длиною ровно в три километра. Возможно, она была для них

священным местом — таким, как Бенарес в Индии, куда верующие приходят, чтобы расстаться с жизнью, — их души, перед тем как вознестись на небеса, избавлялись здесь от своих скелетов. Или, быть может, они просто летели с островов гуано — этих голых и холодных скал — к мягкому и горячему песку, когда их кровь начинала стыть в жилах и сил только-только хватало на то, чтобы осуществить этот перелет.

Надо смириться: всему есть научное объяснение. Можно, разумеется, найти убежище в поэзии, сдружиться с Океаном, слушать его голос, продолжать верить в загадки природы. Немного поэт, немного мечтатель… И вот ты находишь убежище в Перу, у подножия Анд, на пляже, где все кончается, — и это после сражений в Испании, в рядах партизан во Франции, на Кубе: ведь в сорок семь лет о жизни знаешь все-таки немало и уже ничего не ждешь ни от высоких целей, ни от женщин — находишь утешение в красивых пейзажах. Пейзажи редко предают. Немного поэт, немного мечтатель… Впрочем, когда-нибудь и поэзия тоже получит научное объяснение, ее будут изучать как обычный секреторный феномен. Наука с триумфом наступает на человека со всех сторон. Ты становишься владельцем кафе на

дюнах перуанского побережья, по соседству с Океаном — он единственный, кто может составить тебе компанию, — но и этому тоже есть объяснение: разве Океан — это не прообраз вечной жизни, не обещание загробного счастья, последнего утешения? Немного поэт… Надо надеяться, душа не существует: для нее это единственный способ не попасться. Ученые скоро вычислят ее точную массу, состав, подъемную скорость… Когда думаешь о тех миллиардах душ, что улетели за все время с самого начала Истории, есть о чем всплакнуть — колоссальный источник попусту растраченной энергии: понастроив плотин для перехвата душ в момент их вознесения, можно было бы осветить всю землю. Недалек тот час, когда человека будут использовать полностью. Самые прекрасные мечты у него уже отняли, превратив их в войны и тюрьмы.

Некоторые птицы в песке еще стояли: вновь прибывшие. Они смотрели на острова. Острова, далеко в Океане, были покрыты гуано: количество гуано, вырабатываемого одним бакланом за время его существования, способно поддерживать жизнь бедной семьи в течение такого же отрезка времени. Выполнив таким образом свою миссию на земле, птицы прилетали сюда,

чтобы умереть. В общем он мог сказать, что и он тоже выполнил свою миссию: последний раз, в Сьерра-Мадре, с Кастро. Количество идеализма, вырабатываемого одной образцовой душой, способно поддерживать жизнь полицейского режима в течение такого же отрезка времени. Немного поэт, вот и все. Скоро полетят на Луну, и Луны больше не станет. Он швырнул сигарету в песок. Естественно, большая любовь может все это уладить, подумал он с издевкой и довольно сильным желанием околеть. Вот так охватывала его иногда по утрам тоска, скверное одиночество, которое подавляет, вместо того чтобы делать дыхание более свободным. Он наклонился к шкиву, схватил канат, опустил сходни и пошел бриться: как всегда, он с удивлением посмотрел на свое лицо в зеркале. «Я этого не хотел!» — шутя сказал он самому себе. По этим седым волосам и морщинам было хорошо видно, во что он превратится через год-два: единственный выход — это спрятаться под маской благовоспитанного старца. Вытянутое лицо с усталыми глазами и иронической улыбкой. Он никому больше не писал, не получал писем, никого не знал: он порвал со всеми, как это бывает всегда, когда тщетно пытаешься порвать с самим собой.

Кричали морские птицы: должно быть, возле берега проходил косяк рыбы. Небо было совсем белым, острова на горизонте начинали желтеть в лучах восходящего солнца, океан выступал из молочно-серой дымки, тюлени потявкивали возле обвалившегося старого мола за дюнами.

Он поставил разогреваться кофе и вернулся на террасу. У подножия одной дюны, справа, он впервые заметил худого, как скелет, человека: уткнувшись лицом в песок, он спал рядом со свернувшимся калачиком телом, в одних плавках, разукрашенным с головы до пят в голубые, красные и желтые цвета, и гигантским негром, вытянувшимся во весь рост на тине, в белом парике Людовика XV, синем фраке и белых шелковых трусах — последние отголоски волной прокатившегося карнавала и закончившегося здесь, на пляже. «Статисты, — решил он. — Муниципалитет предоставил им костюмы и платья по цене пятьдесят монет за ночь».

Он повернул голову влево, к бакланам, зависшим как столбы серо-белого дыма над рыбным косяком, и увидел ее: в платье изумрудного цвета и с зеленым шарфом в руке; волоча шарф по воде, она шла к бурунам, голова ее была откинута назад, распущенные волосы ниспадали на

обнаженные плечи. Вода доходила ей до пояса, и, когда Океан подступал слишком близко, она покачивалась; волны разбивались метрах в двадцати перед ней, игра становилась опасной. Он выждал еще секунду, но она продолжала идти, не оборачиваясь, а Океан уже медленно приподнимался в кошачьем движении, тяжелом и гибком одновременно: прыжок — и все будет кончено. Он спустился по лестнице, побежал к ней, то и дело наступая на птиц: большинство из них были уже мертвы — они всегда умирали ночью. Он боялся, что не успеет: одна волна покруче — и начнутся неприятности: звонить в полицию, отвечать на вопросы, Наконец, он ее настиг, схватил за руку; она повернулась к нему, и на какой-то миг их обоих накрыло волной. Не разжимая пальцев, он потащил ее к пляжу. Она не сопротивлялась. Какое-то время он шагал по песку, не оборачиваясь, затем остановился. Он секунду поколебался, прежде чем посмотреть на нее: всякие могут быть сюрпризы. Однако он не был разочарован. Необычайно тонкое лицо, очень бледное, и глаза — очень серьезные, очень большие среди капелек воды, которые великолепно шли ей. Бриллиантовое ожерелье на шее, серьги, кольца, браслеты. Свой зеленый шарф

она по-прежнему держала в руке. Откуда она пришла, вся в золоте, бриллиантах и изумрудах, что делает в шесть утра на пустынном пляже среди мертвых птиц?

— Не надо было мне мешать, — сказала она по-английски.

На ее необычайно хрупкой и отличавшейся чистотой линии шее бриллиантовое ожерелье казалось особенно тяжеловесным и лишалось своего блеска. Он продолжал держать ее запястье в своей руке.

— Вы меня понимаете? Я не говорю по-испански.

— Еще несколько метров, и вас бы унесло течением. Оно здесь очень сильное.

Она пожала плечами. У нее было лицо ребенка: больше всего места на нем занимали глаза. «Печаль любви, — решил он. — Причиной всегда бывает печаль любви».

— Откуда прилетают все эти птицы? — спросила она.

— В Океане есть острова. Острова гуано. Там они живут, а сюда прилетают умирать.

— Почему?

— Не знаю. Объясняют по-разному.

— А вы? Почему вы сюда приехали?

— Я держу это кафе. Я здесь живу.

Она смотрела на мертвых птиц у себя под ногами.

Он не знал, что это — слезы или капли воды стекают по ее щекам. Она продолжала смотреть на птиц в песке.

— Все же объяснение должно быть. Всегда есть какое-то объяснение.

Она перевела взгляд на дюну, где в песке спали скелет, размалеванный дикарь и негр в парике и фраке.

— Карнавал, — сказал он.

— Я знаю.

— Где вы оставили свои туфли?

Она опустила глаза.

— Уже не помню… Не хочу об этом думать… Зачем вы меня спасли?

— Так принято. Идемте!

Он оставил ее ненадолго на террасе, быстро вернулся с чашкой горячего кофе и коньяком. Она села напротив, изучая его лицо с напряженным вниманием, задерживая взгляд на каждой черточке. Он улыбнулся ей и сказал:

— Все же объяснение должно быть.

— Не надо было мешать мне, — сказала она.

Она заплакала. Он тронул ее за плечо, скорее

чтобы подбодрить себя, нежели помочь ей.

— Все уладится, вот увидите.

— Мне иногда бывает так тошно. Так тошно. Я не хочу так жить дальше…

— Вам не холодно? Вы не хотите переодеться?

— Нет, спасибо.

Океан начинал шуметь: прилива не было, однако прибой становился к этому часу все настойчивее. Она подняла глаза:

— Вы живете один?

— Один.

— Мне можно здесь остаться?

— Оставайтесь сколько хотите.

— Я больше не могу. Я не знаю, что мне делать…

Она рыдала. Именно в этот момент его вновь охватила неодолимая, как он ее называл, глупость, и хотя в голове у него была полная ясность на этот счет, хотя он привык видеть, как всё всегда крошится у него в руках, факт оставался фактом, и ничего не попишешь: было в нем нечто, что не желало сдавать позиции и упорно продолжало цепляться за любую соломинку надежды. Втайне он верил в возможность счастья, сокрытого в глубинах жизни: оно придет, все озарив своим светом, — и не когда-нибудь, а именно в час на-

ступления сумерек. Какая-то заповедная глупость сидела в нем, наивность, которую ни поражения, ни цинизм так и не смогли уничтожить: сила этой иллюзии провела его от полей сражения в Испании к партизанским отрядам Веркора и к Сьерра-Мадре на Кубе и к двум-трем женщинам, которые всегда появляются, чтобы дать вам заряд новой энергии в минуты величайшего самоотречения, тогда как все уже кажется безнадежным. И вот он сбежал на это перуанское побережье, как другие вступают в монашеский орден траппистов или отправляются кончать свой век в одной из пещер на Гималаях; он жил на краю Океана, как другие — на краю неба: метафизика в действии, бурная и ясная одновременно, успокаивающая необъятность, которая освобождает человека от себя самого всякий раз, когда он ее созерцает. Беспредельность на расстоянии вытянутой руки, которая зализывает раны и побуждает к самоотречению. Но она была такой юной, такой растерянной, она так доверчиво смотрела на него, он же перевидал столько птиц, скончавшихся на этих дюнах, что мысль спасти хотя бы одну, самую красивую из всех, защитить, оставить ее для себя, здесь, на краю земли, и так вот удачно завершить жизнь в конце гонки в одно мгнове-

нье вернула ему всё то простодушие, которое он еще пытался скрыть под ироничной улыбкой и видом искушенного опытом человека. А ведь для этого требовалось не так уж и много. Она подняла на него умоляющий взгляд, из-за недавних слез сделавшийся еще более прозрачным, и детским голосом промолвила:

— Я так хочу остаться здесь, ну пожалуйста.

Впрочем, ему было не привыкать: он узнал девятый вал одиночества, самый сильный, тот, что приходит издалека, из бескрайних океанских просторов: он опрокидывает каждого, кто встает у него на пути, и накрывает с головой, и швыряет на самое дно, а затем вдруг отпускает, как раз на то время, чтобы несчастный успел всплыть на поверхность и попытаться ухватиться за первую подвернувшуюся под руку соломинку. Единственное искушение, которое еще никому не удавалось побороть, — искушение надеждой. Он покачал головой, изумляясь этому необычайному напору молодости в себе: на подступах к пятидесятилетию его случай казался ему совершенно безнадежным.

— Оставайтесь.

Он держал ее руку в своей. Впервые он заметил, что под платьем она совершенно голая. Он

открыл рот, чтобы спросить, откуда она пришла, кто она такая и что делает здесь, почему хотела умереть, почему она совсем голая под вечерним платьем, откуда это бриллиантовое ожерелье на шее, золото и изумруды на руках, но только грустно улыбнулся: очевидно, это — единственная птица, которая может объяснить ему, почему она оказалась выброшенной на эти дюны. Должно же быть какое-то объяснение, объяснение всегда есть, однако его лучше было не знать. Наука объясняет мир, психология — людей, но надо уметь и защищаться, не дать себя провести, не лишиться последних иллюзий. Пляж, Океан и белое небо быстро заполнились рассеянным светом, а невидимое солнце давало о себе знать лишь оживавшими красками на земле и на море. Под мокрым платьем была хорошо видна ее грудь, и такая в ней чувствовалась уязвимость, такая невинность была в ее ясных глазах, слегка округлённых и неподвижных, в нежности каждого движения плеч, что мир вокруг внезапно становился более легким, невесомым — казалось, наконец-то, его можно взять на руки и нести к лучшей судьбе. «Ты неисправим, Жак Ренье», — подумал он с издевкой, пытаясь бороться с этой потребностью защитить, которую он ощущал всем своим телом

— руками, плечами, ладонями.

— Боже мой, — сказала она. — Я, наверное, умру от холода.

— Сюда.

Окна его спальни, располагавшейся за баром, также выходили на дюны и Океан. Она остановилась на миг перед застекленной дверью, он заметил, как она бросила украдкой быстрый взгляд вправо, и повернул голову в ту же сторону: скелет сидел на корточках у подножия дюны и пил из бутылки, негр во фраке продолжал спать под белым париком, соскользнувшим ему на глаза, человек с размалеванным синей, красной и желтой красками телом сидел, подогнув под себя колени, внимательно разглядывая пару женских туфель на высоких каблуках, которые он держал в руке. Он что-то сказал, рассмеялся. Скелет перестал пить, протянул руку, подобрал в песке бюстгальтер, поднес его к губам, затем бросил в Океан. Теперь он ораторствовал, положив руку на сердце.

— Лучше бы вы дали мне умереть, — сказала она. — Все так ужасно.

Она спрятала лицо в ладони. Она всхлипывала. В очередной раз он сделал попытку не знать, предпочел ничего не спрашивать.

— Я сама не знаю, как это случилось, — сказала она. — Я была на улице в карнавальной толпе, они затащили меня в машину, привезли сюда, и потом… и потом…

«Ну вот, — подумал он. — Объяснение есть всегда: даже птицы не падают с неба без причины». Она стала раздеваться, а он пошел за купальным халатом. Сквозь застекленную дверь он посмотрел на троицу мужчин у подножия дюны. В прикроватной тумбочке у него лежал револьвер, но он тотчас отверг эту мысль: они неминуемо умрут сами, без посторонней помощи, а при более или менее удачном стечении обстоятельств их смерть будет намного мучительнее. Размалеванный мужчина продолжал держать туфли в руке: он как бы разговаривал с ними. Скелет смеялся. Негр в придворном фраке спал, укрывшись своим белым париком. Они упали к основанию дюны, со стороны Океана, в самую гущу мертвых птиц. Должно быть, она кричала, отбивалась, умоляла, звала на помощь, а он ничего не слышал. Тем не менее сон у него был чуткий: не раз он просыпался от хлопанья крыльев морской ласточки на крыше. Но шум Океана, очевидно, перекрыл ее голос. Бакланы кружили в лучах зари, издавая сиплые крики, то и дело камнями падая вниз к

рыбному косяку. На горизонте гордо взметнулись вверх острова — белые как мел. Они не взяли у нее ни бриллиантовое ожерелье, ни кольца — полнейшее бескорыстие. Все же, наверное, следует их убить, чтобы отнять хоть немного того, что взяли они. Сколько ей может быть лет: двадцать один, двадцать два? Приехала она в Лиму одна или с отцом, мужем? Троица, судя по всему, уходить не торопилась. Похоже, они не боялись и полиции; они спокойно обменивались впечатлениями на берегу Океана — последние отголоски отшумевшего карнавала. Когда он вернулся, она стояла посреди комнаты, борясь со своим мокрым платьем. Он помог ей раздеться, помог надеть халат, ощутил на миг, как она дрожит и трепещет в его руках. Украшения сверкали на ее обнаженном теле.

— Лучше бы я не покидала отеля, — сказала она. — Надо было запереться в номере.

— Они не взяли у вас украшения, — заметил он.

Он чуть было не добавил: «Вам повезло», но сдержался и сказал только:

— Вы не хотите, чтобы я кому-нибудь позвонил?

Она как будто и не слушала.

— Я не знаю, что мне теперь делать, — сказала она, — нет, правда, я просто не знаю… будет, наверное, лучше, если меня осмотрит врач.

— Я вызову врача. Прилягте. Залезайте под одеяло. Вы дрожите.

— Мне не холодно. Позвольте мне остаться здесь.

Она лежала на кровати, подтянув одеяло к подбородку, и внимательно смотрела на него.

— Вы не сердитесь на меня, нет?

Он улыбнулся, сел на кровать, коснулся рукой ее волос.

— Полноте, — сказал он, — как можно…

Она схватила его ладонь и прижала к своей щеке, затем к губам. Глаза ее округлились. Глаза бездонные, влажные, слегка неподвижные, с изумрудными отблесками, как Океан.

— Если бы вы знали…

— Не думайте об этом больше.

Она закрыла глаза, прильнула щекой к его ладоням.

— Я хотела со всем покончить, я должна это сделать. Я не могу больше жить. Я не хочу. Мое тело мне противно.

Глаза ее были по-прежнему закрыты. Ее губы подрагивали. Такое ясное лицо он видел впервые.

Затем она открыла глаза, посмотрела на него, словно прося милостыню.

— Я вам не противна?

Он наклонился и поцеловал ее в губы. Под своей грудью он ощутил как бы трепетание двух пойманных птиц.

Вдруг он заметался. Стыд смешался с гневом: но со своей натурой бороться бесполезно. Он видел — и не раз, — как мальчишки бродили по песку в поисках еще трепетавших птиц и добивали их ударами каблука. Кое-кого из них он даже поколотил, но вот теперь и он сам идет на зов раненой пташки, сам добивает ее, склоняется над ее грудью, нежно касается своими губами ее губ. Он чувствовал ее руки на своих плечах.

— Я вам не противна, — произнесла она торжественным тоном.

Он пытался бороться, изо всех сил сопротивляясь этому подхватывавшему его девятому валу одиночества. Он хотел только одного: еще хотя бы несколько секунд полежать рядом с ней, прижавшись лицом к ее шее, вдыхая ее молодость.

— Пожалуйста, — взмолилась она. — Помогите мне забыть. Помогите мне.

Она не хочет больше расставаться с ним. Она хочет остаться здесь, в этом бараке, в этом пло-

хо посещаемом кафе, на самом краю света. Так настойчив был ее шепот, так умоляюще смотрели глаза, так многообещающи были ее хрупкие руки, обнимавшие его за плечи, что у него вдруг возникло ощущение, что жизнь, несмотря ни на что, удалась, удалась в последний момент. Он прижимал ее к себе, изредка приподнимая ее голову своими ладонями; а в это время десятилетия одиночества с силой давили ему на плечи, и девятый вал подхватывал его и уносил вместе с ней в открытое море.

— Я хочу, — прошептала она, — Хочу.

Когда волна отхлынула, он, вновь оказавшись на берегу, понял, что она плачет. Она всхлипывала, не открывая глаз и не приподнимая головы, которую он продолжал держать в ладонях, прижимая к своей щеке; он чувствовал ее слезы и ее сердце, которое билось у самой его груди. Затем он услышал голоса и звук шагов на террасе. Он подумал о троице мужчин на дюне и резко вскочил, чтобы взять револьвер. Кто-то шагал по террасе, вдали лаяли тюлени, морские птицы кричали между небом и землей, мертвая зыбь разбилась о пляж и заглушила голоса, затем удалилась, оставив после себя только грустный смешок да голос, который сказал по-английски:

— Разрази меня гром! Это уже становится невыносимым. Последний раз я беру ее с собой в поездку. Мир перенаселен, это совершенно точно.

Он приоткрыл дверь. Возле стола, опираясь на трость, стоял мужчина, лет пятидесяти, в смокинге. Он играл зеленым шарфом, который она оставила возле чашки с кофе. У него было испитое лицо алкоголика, серые усики, конфетти на плечах, влажные голубые глаза, крашеные волосы, похожие на парик; руки его дрожали, а мелкие и невыразительные черты лица от усталости казались еще более неопределенными; заметив в дверном проёме Ренье, он иронично улыбнулся, посмотрел на шарф, затем снова перевел взгляд на Ренье, и его улыбка обозначилась чётче — насмешливая, грустная и мстительная; рядом с ним, прислонившись к канатам, стоял с сигаретой в руке, угрюмо потупив взор, мужчина, молодой и красивый, в костюме тореадора, с гладкими и черными как смоль волосами. Чуть поодаль, на деревянной лестнице, положив руку на перила, стоял шофер в серой униформе и фуражке; через руку у него было перекинуто женское пальто. Ренье положил револьвер на стул и вышел на террасу.

— Бутылку виски, пожалуйста, — сказал мужчина в смокинге, бросив на стол шарф, — per favor...[1]

— Бар еще не открыт, — сказал Ренье по-английски.

— Ну, тогда кофе, — сказал мужчина. — Кофе, пока мадам закончит одеваться.

Он бросил на него печально-голубой взгляд, немного расправил плечи, продолжая опираться на трость; его лицо, в тусклом свете казавшееся мертвенно-бледным, застыло в выражении бессильной злобы, а в это время нахлынула новая волна, и домишко на сваях задрожал.

— Мертвая зыбь, Океан, силы природы... Вы, наверное, француз? Вот она возвращается. Кстати, мы тоже жили во Франции около двух лет, это не помогло, еще один пример несправедливо раздутой славы. Что же касается Италии... Мой секретарь, которого вы здесь видите, типичный итальянец... Это также не помогло. Тореадор хмуро смотрел на свои ступни. Англичанин повернулся к дюне, где, скрестив руки перед небом, лежал скелет. Голый красно-желто-синий мужчина сидел на песке, запрокинув голову и поднеся

---

[1] Примечания: 1
Пожалуйста*(исп.).*

горлышко бутылки к губам, а негр в белом парике и придворном фраке, стоявший по колено в воде, расстегнул свои белые шелковые трусы и мочился в Океан.

— Я уверен, что они тоже не помогли, — сказал англичанин, указав тростью в сторону дюны. — Есть на этой земле уловки, которые превосходят возможности мужчины. Троих мужчин, я сказал бы… Надеюсь, они не украли ее украшения. Целое состояние, и страховая компания навряд ли заплатит. Ее обвинили бы в неосторожности. Однажды кто-нибудь свернет ей шею. Кстати, вы не скажете, откуда здесь столько мертвых птиц? Их тут тысячи. Я слышал о кладбищах слонов, но о кладбищах птиц… Уж не эпидемия ли? Все же должно быть какое-то объяснение.

Он услышал, как сзади открылась дверь, однако не шелохнулся.

— А, вот и вы! — сказал англичанин, слегка поклонившись. — Я уже начал волноваться, дорогая моя. Мы четыре часа терпеливо ждали в машине, пока это произойдет, а ведь мы здесь, можно сказать, как бы на краю света… Беда себя ждать не заставит.

— Оставьте меня. Уходите. Замолчите. Пожалуйста, оставьте меня. Зачем вы пришли?

— Дорогая моя, опасения вполне оправданны…

— Я вас ненавижу, — сказала она, — вы мне противны. Почему вы ходите за мной? Вы мне обещали…

— В следующий раз, дорогая, все же оставляйте украшения в отеле. Так будет лучше.

— Почему вы все время пытаетесь меня унизить?

— Если кто и унижен, так это я, дорогая. По крайней мере, согласно действующим условностям. Мы, разумеется, выше этого. The happy few…[2] Однако на сей раз вы и впрямь зашли слишком далеко. Я не говорю о себе! Я готов на все, вы это знаете. Я вас люблю. И я не раз доказывал вам это. В конце концов, с вами могло что-нибудь случиться. Единственное, о чем я вас прошу, это быть хоть чуточку… поразборчивее.

— И вы пьяны. Вы снова пьяны.

— Это от отчаяния, дорогая. Четыре часа в машине, всякие мысли… Согласитесь, я не самый счастливый человек на земле.

— Замолчите. О Боже мой, замолчите!

Она всхлипывала. Ренье не видел, но был уверен, что она растирает глаза кулаками: это были

---

[2] Примечания: 2

Здесь: Счастливое меньшинство*(англ.).*

всхлипывания ребенка. Он не хотел ни думать, ни понимать. Он хотел только слышать лай тюленей, крик морских птиц, гул Океана. Он стоял среди них, неподвижный, с опущенными глазами, и мерз. А может, просто дрожал от страха.

— Зачем вы меня спасли? — крикнула она. — Не надо было мне мешать. Одна волна — и конец. Я устала. Я больше не могу так жить. Не надо было мне мешать.

— Мсье, — произнес англичанин с пафосом, — как мне выразить вам свою благодарность? Нашу благодарность, если быть точным. Позвольте мне от имени всех нас… Мы все бесконечно вам признательны… Успокойтесь, дорогая моя, пойдемте. Уверяю вас, я уже не страдаю… Что же до остального… Сходим к профессору Гузману, в Монтевидео. Говорят, он творит чудеса. Не правда ли, Марио?

Тореадор пожал плечами.

— Не правда ли, Марио? Великий человек, настоящий целитель… Наука еще не сказала последнего слова. Он написал все это в своей книге. Не правда ли, Марио?

— О, да ладно уж, — сказал тореадор.

— Вспомни светскую даму, у которой по-настоящему получалось лишь с жокеями весом

ровно в пятьдесят два кило… И ту, которая всегда требовала, чтобы в это время стучали в дверь: три коротких удара, один долгий. Душа человека — непостижима. А жена банкира, которую возбуждал только звонок сигнализации, установленной на сейфе: она всегда попадала в глупое положение, потому что от этого просыпался муж…

— Да ладно вам, Роджер, — сказал тореадор. — Это не смешно. Вы пьяны.

— А та, которая добивалась интересных результатов лишь тогда, когда, занимаясь любовью, пылко прижимала револьвер к своему виску? Профессор Гузман всех их вылечил. Он рассказывает об этом в своей книге. Они все обзавелись семьями, стали превосходными матерями, дорогая моя. Не стоит так отчаиваться.

Она прошла сбоку, даже не взглянув на него. Шофер почтительно накинул пальто ей на плечи.

— Впрочем, чего уж там, Мессалина тоже была такой. А она, между прочим, императрица.

— Роджер, достаточно, — сказал тореадор.

— Правда, о психоанализе тогда еще и слыхом не слыхивали. Профессор Гузман наверняка бы ее вылечил. Полноте, моя маленькая королева, не

смотрите на меня так. Помнишь, Марио, слегка ворчливую молодую женщину, которая ничего не могла сделать, если рядом не рычал лев в клетке? И ту, чей муж всегда должен был играть одной рукой «Послеполуденный отдых фавна»? Я готов на все, дорогая моя. Моя любовь не знает границ. А та, что всегда останавливалась в отеле «Ритц», чтобы иметь возможность видеть Вандомскую колонну? Непостижима и загадочна душа человека! А та, совсем юная, которая после медового месяца в Марракеше уже не могла обходиться без пения муэдзина? И та, наконец, молодая невеста, впервые отдавшаяся в Лондоне во время бомбежки, которая с тех пор всегда требовала, чтобы муж изображал свист падающей бомбы? Они все стали образцовыми матерями семейств, дорогая моя.

Молодой человек в костюме тореадора подошел и дал англичанину пощечину. Англичанин плакал.

— Так не может продолжаться, — сказал он.

Она спускалась по лестнице. Он увидел, как она идет босиком по песку, среди мертвых птиц. В руке у нее был шарф. Он видел ее профиль, такой безупречный, что ни рука человека, ни Бога не могла бы ничего к нему добавить.

— Ладно, Роджер, успокойтесь, — сказал секретарь.

Англичанин взял бокал с коньяком, который она оставила на столе, и залпом выпил. Он поставил бокал, вынул из бумажника банкноту, положил ее на блюдце. Затем он пристально посмотрел на дюны и вздохнул.

— Мертвые птицы, — сказал он. — Этому должно быть объяснение.

Они ушли. На вершине дюны, перед тем как исчезнуть, она остановилась в нерешительности, обернулась. Но его уже не было. Она не увидела никого. В кафе было пусто.

Лютня

Высокий, стройный, отличающийся той элегантностью, что так идет к длинным хрупким кистям с пальцами художника или музыканта, посол граф де Н… занимал в течение всей своей карьеры важные посты, но — в холодных краях, вдали от этого Средиземноморья, к которому он стремился с такой упорной и немного мистической страстностью, словно между ним и латинским морем существовала некая тесная глубинная связь. Коллеги по дипломатическому корпусу в Стамбуле упрекали его в некоторой холодности, казалось бы никак не вязавшейся с пристрастием графа к солнцу и неге Италии — в чем он, кстати, редко признавался, — а также в недостаточной общительности; самые проницательные или самые снисходительные видели в этом признак крайней чувствительности, даже ранимости, которую не всегда удается скрыть под хорошими манерами. А быть может, его любовь к Средиземноморью была лишь своего рода переносом чувств, и он дарил небу, солнцу, шумным играм света и воды все то, что в силу ограничений, налагаемых его воспитанием, профессией,

а также, вероятно, и характером, он не мог открыто отдать людям или одному человеческому существу.

В двадцать три года он женился на девушке, которую знал с детских лет, и это также было для него лишь способом избежать соприкосновения с миром посторонних. О нем говорили, что он являет собой редкий пример дипломата, сумевшего уберечь свою личность от чрезмерного поглощения должностными обязанностями; впрочем, он выказывал легкое презрение по отношению к людям, которые, говоря его словами, «слишком уж походили на то, что продавали». «А это, — объяснял он своему старшему сыну, недавно последовавшему по его стопам, — слишком явно раскрывая возможности человека, никогда не идет на пользу ни ему самому, ни его делу».

Подобная сдержанность не мешала графу тонко чувствовать свою профессию; и в пятьдесят семь лет, занимая свой третий по счету посольский пост, купаясь в почестях и являясь отцом четырех очаровательных детей, он томился смутным чувством, которое не мог объяснить, — что он всем пожертвовал ради работы. Жена была для него идеальной спутницей жизни; некоторая узость мышления, в которой он втайне ее об-

винял, возможно, более, чем что-либо другое, способствовала его карьере, по крайней мере во всем, что относилось к ее внешней, но отнюдь не маловажной стороне, так что вот уже двадцать пять лет, как он в значительной мере был избавлен от всего, что касалось выбора закусок, печенья, подбора цветов, от любезностей, ритуальных хороводов, благопристойных отсидок и утомительных фривольностей дипломатической жизни. Она как бы инстинктивно оберегала его посредством всего, что было в ней педантичного, «комильфо», условного, и он изумился бы, узнав, сколько любви вмещало в себя то, что он считал просто узостью кругозора. Они были одного возраста; имения их семей соседствовали на берегу Балтики; ее родители устроили этот брак, даже и не подозревая, что она любила его с детства. Теперь это была худая женщина, с прямой осанкой, одевавшаяся с тем безразличием, в котором было что-то от самоотречения; она питала слабость к ленточкам из черного бархата вокруг шеи, которые лишь притягивают внимание к тому, что они пытаются скрыть. Чересчур длинные серьги причудливо подчеркивали каждый поворот головы и придавали что-то патетическое ее неженственному облику. Они мало разговаривали друг с другом,

как будто между ними существовал молчаливый уговор; она стремилась предугадать малейшее его желание и в максимальной степени избавить его от общения с людьми.

Он пребывал в убеждении, что оба они заключили брак по расчету и что стать супругой посла было целью и венцом всей ее жизни. Он бы изумился, а возможно, даже возмутился, когда бы узнал, что она проводит долгие часы в церквах, прося за него Бога. С самой их свадьбы она ни разу не забывала о нем в своих молитвах, и они были пылкими и просительными, как будто она считала, что он постоянно подвергается какой-то скрытой опасности. И сейчас еще, на гребне примерной жизни, когда дети уже выросли и когда ничто, казалось бы, не угрожает тому, кого она окружила немой и как бы мучительной лаской, странным образом скрываемой даже в мгновенья супружеской близости, и сейчас еще, после тридцати пяти лет совместной жизни, ей случалось часами простаивать на коленях во французской церкви Пера,[3] сжимая в пальцах кружевной платок, молясь о том, чтобы не взорвалась внезапно одна из тех бомб замедленного

---

[3] Примечания: 3
Квартал в Стамбуле.

действия, которые судьба порой закладывает с самого рождения в сердце мужчины. Но что же могло угрожать изнутри человеку, вся жизнь которого была как один долгий солнечный день с идеальной видимостью, как процесс неторопливого и спокойного расцвета личности, нашедшей свое призвание?

Граф провел самую светлую пору своей карьеры в крупных столицах, и если ему еще чего-то хотелось, так это быть назначенным однажды в Рим — это сердце Средиземноморья, — о котором он продолжал грезить с пылом влюбленного. Судьба, однако, как бы отчаянно противилась его желанию. Неоднократно он был на грани того, чтобы получить назначение в Афины, затем в Мадрид, но в последний момент какое-нибудь внезапное решение Администрации отбрасывало его далеко от цели.

То, что граф называл превратностями судьбы, его жена всегда принимала с некоторым облегчением, хотя никогда в этом и не признавалась. Даже те несколько недель отпуска, который они ежегодно проводили с детьми на Капри или в Бордигере, она переносила с трудом: ее привычка к умолчанию, ее темперамент, чувствовавший себя привольно лишь в разрежённом клима-

те, приятно навевавшем лишенный всяческих страстей покой, даже цвет ее лица, очень бледный, превосходно сочетавшийся с тяжеловесной скрытностью всегда задернутых штор, — все способствовало тому, что Средиземноморье представлялось ей джунглями красок, запахов и звуков, в которые она вступала с тяжелым сердцем. В таком количестве света ей виделось нечто безнравственное; это слишком приближалось к наготе. Со страстей и с сердец спадала целомудренная пелена холодности, тумана или дождя: все допускалось, все обнародовалось, все выставлялось напоказ и все отдавалось. Средиземноморье отчасти производило на нее впечатление гигантского злачного места, и она так и не сумела свыкнуться с тем, что приезжает туда с детьми: она отваживалась на это, лишь взяв с собой двух гувернанток и воспитателя для мальчиков. Когда дети играли на пляже Лидо, она не спускала с них глаз, будто опасалась, что сами волны и море могут дать им какой-нибудь безнравственный совет или научат какой-нибудь запрещенной игре. Она испытывала отвращение ко всему яркому и к природе относилась крайне сдержанно, словно считала ее способной на скандальный поступок; держалась она всегда

натянуто, беспокойно, все время контролируя и подавляя свою нервозность, проявлявшуюся лишь в чуть заметном подрагивании серег; она уделяла чрезмерное внимание манерам, приличиям и поступала так, как будто целью ее жизни было пройти незамеченной. Трудно было представить воспитание более строгое, чем у нее, и увенчавшееся большими успехами. И если бы не некоторая ее неспособность улыбаться, из нее бы вышла идеальная супруга посла. Улыбки ее были быстрыми, вымученными, как холодная дрожь; она относилась к тем людям, о которых трудно что-либо сказать и вместе с тем которых трудно забыть. Она была неутомима в своей деятельности, в заботах о карьере мужа, воспитании детей; она щедро растрачивала себя на визиты, благотворительность, приемы, светские обязанности, ненавидя их в той же мере, что и граф (хотя он об этом и не догадывался), но отдаваясь им с усердием, ибо это были единственные знаки любви и преданности, которые она могла позволить себе в отношении мужа. На ее лице с тонкими губами и чуть заостренными чертами бледной птицы лежала печать неослабной решимости, воли, направленной к одной-единственной, труднообразимой цели. Создавалось впечатление, будто

она скрывает тайну, будто она знает нечто, о чем никто, никогда, ни за что не должен догадаться: это читалось во внезапном беспокойстве ее взгляда, судорожной нервозности рук, в сдержанности ее беглых и ледяных улыбок, которыми она изредка награждала жен сотрудников своего мужа, пытавшихся завязать с ней дружбу и которых она немедленно начинала подозревать в желании вторгнуться в ее личный мир. Считали, что ее снедает честолюбие, и немного подтрунивали над тем, как ревностно, а порою почти мнительно следит она за всем, что давно уже, казалось, не требует стольких усилий: положением мужа и будущим детей. Их было четверо — два сына и две дочери; старший совсем недавно тоже поступил на дипломатическую службу, заняв пост атташе в Париже; младший учился в Оксфорде и на днях прибыл в Стамбул, чтобы провести там каникулы и подготовиться к экзамену; обе дочери, шестнадцати и восемнадцати лет, жили с родителями.

Граф де Н… уже больше года находился на своем посту в Стамбуле, и ему нравился этот край, куда цивилизации приходили, чтобы так красиво угаснуть; впрочем, он чудесным образом преуспел в Турции и питал к ее гордому и отважному народу искреннее и дружеское уважение.

Какое-то время назад столицу перенесли в Анкару, которая быстро выросла из земли по воле Ататюрка, но посольства тянули с переездом, заставляли себя упрашивать и, пользуясь летней порой, еще оставались на Босфоре.

Утренние часы граф проводил в канцелярии; после обеда он долго бродил среди мечетей, по базарам, задерживаясь у торговцев предметами искусства и антиквариатом; он часами мог задумчиво созерцать драгоценный камень или поглаживать своими длинными, тонкими пальцами, как будто для этого и созданными, статуэтку или маску, словно пытаясь вдохнуть в них жизнь. Как все ценители, он испытывал потребность потрогать, подержать в руках то, чем наслаждался его взор; антиквары услужливо открывали ему свои витрины, и он оставался наедине со своим наслаждением. Но покупал он мало. И дело было вовсе не в скупости. Просто самым прекрасным вещам всегда чего-то недоставало. Он почти судорожным жестом отодвигал кольца, чаши, иконы, камеи — еще одна статуэтка, еще один эмалевый пейзаж, сверкание драгоценностей. Его рука порой сжималась от нетерпения, почти физического ощущения пустоты чего-то не хватало. Сама красота про-

изведения искусства его только еще больше раздражала, потому что она наводила на мысль о совершенстве более грандиозном, более полном, всего лишь жалким предчувствием которого и было всегда искусство. Порой, когда он скользил пальцами по формам, которые придало статуе вдохновение художника, его вдруг охватывала глубокая тоска, и, лишь сделав над собой усилие, он мог сохранить тот достойный и уравновешенный вид, которого все от него ждали. Именно в такие мгновенья он с наибольшей остротой испытывал ощущение упущенного призвания. Однако он никогда не помышлял о том, чтобы стать художником. Сама тяга к искусству пришла к нему слишком поздно. Нет, что-то было в его руках, пальцах — будто у них была своя мечта, неподвластное его воле влечение, которого он не понимал. Ему, никогда не страдавшему бессонницей, все чаще случалось часами лежать без сна, прислушиваясь к смутному физическому зову, пробуждавшемуся в его ладонях неким словно ночью родившимся новым ощущением. В конце концов ему становилось неудобно перед торговцами, и он стал наведываться на базары все реже и реже. Он даже поделился своими опасениями с женой за завтраком. Завтрак представлял из

себя семейный обряд, отправляемый под синим зонтом на террасе Терапиа над Босфором: дворецкий в белых перчатках торжественно разносил ритуальные орудия; госпожа де Н… руководила церемонией, проходившей в восхитительно отлаженной атмосфере, в которую лишь пчелы порой вносили неожиданную ноту. Граф начал издалека, чувствуя себя виноватым, хотя сам и не знал в чем; впрочем, он решился об этом заговорить, чтобы как раз и покончить с этим нелепым чувством вины.

— Кончится тем, что за мной здесь прочно закрепится репутация скряги, сказал он. — Я провожу время у стамбульских антикваров, ничего не покупая. Вчера после обеда я, наверное, полчаса стоял перед статуэткой Аполлона, но так и не смог решиться. Мне кажется, что даже самым совершенным предметам искусства недостает главного. Между тем одной из черт своего характера я считал снисходительность, чувство, которое редко сочетается с непримиримой жаждой совершенства. У торговцев уже складывается обо мне такое впечатление, будто, предложи они мне статую Фидия, я и тут найду что возразить.

— И в самом деле, будет лучше, если вы купите у них что-нибудь, сказала графиня. — Половина

слухов, расползающихся по дипломатическому корпусу, рождается на базарах. Порой их бывает достаточно, чтобы повлиять на карьеру. Во всяком случае, известно по дням, что купил самый мелкий атташе и сколько он за это заплатил.

— В следующий раз я куплю первое, что подвернется под руку, — сказал граф наигранным тоном. — Но согласитесь, лучше уж пусть меня обвинят, как говорят французы, в «прижимистости», чем в наличии дурного вкуса.

Его старшая дочь разглядывала лежавшие на скатерти длинные точеные кисти отца.

— Чтобы объяснить ваши колебания, достаточно взглянуть на ваши руки, папа, — сказала она. — Я сама видела вас на днях у Ахмеда, когда вы мечтательно гладили египетскую статуэтку. У вас был завороженный и в то же время грустный вид. Вы, я уж и не знаю сколько времени, продержали фигурку в руке, затем вновь поставили в витрину. Я никогда не видела вас таким подавленным. В действительности вы сами слишком артистичная натура, чтобы довольствоваться созерцанием. У вас потребность творить самому. Я абсолютно уверена, что вы упустили свое призвание…

— Кристель, прошу тебя, — мягко произнесла

графиня.

— Я хочу только сказать, что под оболочкой идеального дипломата в течение тридцати лет скрывался художник, которому ваша воля мешала проявить себя, но который сегодня берет реванш. Я убеждена, что вы талантливы, папа, и что в вас сидит великий художник или скульптор, который был связан в течение целой жизни, вот почему теперь каждый предмет искусства для вас как упрёк, как угрызение совести. Всю жизнь вы в созерцании искали эстетическое удовлетворение, но дать вам его могло бы только творчество. Ваш дом постепенно превратился в музей, но вы упорно продолжаете вести раскопки у всех стамбульских антикваров, вы ищете произведение, которое заключено в вас самих. Все эти миниатюры, скульптуры, безделушки вокруг вас — свидетельство неудавшейся жизни…

— Кристель! — сказала герцогиня строго.

— О! Все относительно, конечно. Я говорю лишь об артистическом призвании. Когда вы на базаре у Ахмеда стоите перед каменным изображением какого-нибудь языческого божества, что вас мучает, так это желание творить. Вы не можете довольствоваться произведением другого. Впрочем, все это написано на ваших руках.

Внезапно граф ощутил рядом с собой чье-то обеспокоенное и напряженное присутствие — жена. То, что можно с такой легкостью говорить о его дипломатической карьере, о чреде почестей, какой была его жизнь, — вот, вероятно, с чем ей трудно было смириться или просто стерпеть это. Он сдержанно кашлянул, поднес к губам салфетку; то, что можно вкладывать столько страсти в любовь к респектабельности, чинам, почестям, — вот чего он никак не мог понять. Ему даже в голову не приходило, что то, что он называет «любовью к респектабельности, чинам, почестям», было, возможно, просто любовью. Зато он знал другое — и вспоминал не без досады, — что если бы не она, то он бы уже давно оставил службу и жил в каком-нибудь рыбацком поселении в Италии, рисовал, ваял… Непроизвольно его кисть сжалась в странном ощущении потребности чего-то, с какой-то физической ностальгией в пальцах.

— Мне скорее кажется, что у папы руки музыканта, — вмешалась младшая дочь. — Очень легко представить, как они касаются клавиш, струн скрипки или даже гитары…

Какое-то время над скатертью между мёдом и вазой с цветами жужжала пчела, по Босфору

проплыл каик, неторопливо и томно, ничем не потревожив лености взгляда; послышался скрежет шин по гравию.

— Водитель, — сказал граф.

Он встал, улыбнулся детям, намеренно не посмотрел на жену и сел в машину. В пути он раза два-три взглянул на свои руки. Он был тронут горячностью дочери, ее словоохотливыми и простодушными рассуждениями. Ведь это правда, что уже многие годы ему недостаточно одного созерцания и что в нем все больше растет странное, неодолимое желание поглубже вкусить от красоты мира, поднести ее к губам, как кубок с вином… Он наклонился к водителю.

— К Ахмеду, — сказал он.

Среди антикваров, уже долгое время наблюдавших за графом де Н…, как он, перебирая одну за другой драгоценные безделушки, никогда, казалось, не находил того, что искал, был, естественно, и Ахмед, — не только самый крупный торговец на базаре, но также и большой знаток человеческой натуры, к которой питал настоящую страсть коллекционера. Это был округлый, почти тучный мужчина с оливковым цветом лица, с красивыми влажными глазами цвета морской волны; он все еще покрывал свои седеющие

волосы феской, хотя ношение ее в Турции было запрещено недавним декретом Ататюрка. В его взгляде постоянно светился необычный огонек, словно великолепие драгоценных камней, среди которых он жил, в конце концов передало его глазам немного своего блеска, а с его мясистого лица не сходило выражение чудесного, почти благоговейного восхищения, которое как бы отражало изумление и благодарность истинного ценителя перед неисчерпаемыми богатствами человеческой души в ее удивительно многообразных проявлениях. Самым большим удовольствием для него было из глубины своей лавки восхищенно наблюдать с утра до вечера неистощимую в своем изобилии человеческую фауну, ее глубоко скрытые тайники, засекреченные или видимые невооруженным глазом, неожиданные проявления ее безобразия или красоты.

Граф де Н… считался у стамбульских антикваров одним из наихудших клиентов, которых Аллах когда-либо приводил на их базары. Но Ахмед никогда не был сторонником скоропалительных суждений. Напротив, он многого ждал от дипломата и заботливо его обихаживал. В его присутствии он переживал те упоительные минуты предвосхищения, которые ведомы каждому

коллекционеру, когда он чувствует, что напал на след редкого и ценного предмета, долгое время остававшегося неузнанным, чью глубинную подлинность так никогда и не удалось отгадать ни одному из множества падавших на него взоров. Чаще всего Ахмеда можно было видеть во внутреннем дворике его магазина, возле фонтана, в обществе молодого племянника; когда в одном из отделов магазина появлялся граф де Н..., с лица Ахмеда тут же исчезало всякое выражение, что являлось у него верным признаком волнения; он вставал и шел встречать посла с полной достоинства вежливостью, начисто лишенной раболепия. Никакая торговая сделка, какой бы выгодной она ни оказалась, не доставила бы ему четверти того удовлетворения, которое он испытывал, незаметно наблюдая, как дипломат борется со своим тайным демоном. Терпеливо, как бывалый изыскатель, Ахмед ждал уже год. Он опасался лишь одного: что во время случайной прогулки или встречи вдруг раскроется то сокровенное, что граф, сам того не ведая, носит в себе и что опытный взор Ахмеда подстерегает уже давно, что этот момент наступит где-то в ином месте, вне стен его магазина, вдали от его глаз.

Он принял дипломата в тишине, которую

приберегал для тонких ценителей искусства и которая подразумевала некое единение в созерцании прекрасного. Он переходил из одного салона в другой, открывая витрины; в саду слышалось журчание фонтана; в какой-то момент Ахмед, проходя возле окна, подал знак своему племяннику, и юноша прикоснулся к струнам инструмента, лежавшего у него на коленях. Граф повернулся к окну. — Мой племянник, — промолвил Ахмед. Граф взял статуэтку, которой любовался накануне: его руки нервно скользили по линиям скульптуры; Ахмед в почтительном молчании украдкой поглядывал, как пальцы посла живут своей жизнью на камне. Молодой музыкант во дворе перестал играть, словно из инстинктивного почтения к таинственному ритуалу, который отправлял в тот момент любитель искусства; слышалось журчание фонтана. «Должно быть, дочь права, — внезапно подумал граф, — мои глаза устали бегать по оставленным кем-то следам, необходимо попытаться самому вырвать у материи чудо жизни и красоты». И не было иного объяснения тому смятению, которое он испытывал одновременно с чувством крайней безысходности, а также тому раздражению, той почти болезненной пустоте, той странной

физической ностальгии, какую он ощущал у себя в пальцах.

Он знал, что проведет еще одну бессонную ночь с чувством, что его руки собираются его покинуть, чтобы зажить в каком-нибудь затерянном углу базара своей собственной, таинственной жизнью, жизнью на ощупь, как у рептилий, — он смутно ее предчувствовал, но отказывался постигать, — и в который раз ему придется призывать на помощь все свое самолюбие, чтобы лишить собственное воображение права пересечь границы насмешливо-загадочного мира, который его подстерегал. У него мелькнуло желание довериться Ахмеду, рассказать ему о смутном физическом влечении, притаившемся в его ладонях, как трепыхающееся насекомое; ему нужен был совет, посвящение в таинство, возможно, Ахмед предоставит ему тот загадочный материал, в который ему так хотелось погрузить, наконец, свои пальцы. Но, очевидно, уже слишком поздно; требуются долгие годы учения, посвящения, чтобы стать скульптором; если бы только он раньше открыл свое истинное призвание! Быть может, через несколько лет, после того как он выйдет в отставку… Он повернулся к Ахмеду с наигранной улыбкой на губах, с той элегантной

непосредственностью, какую умел вкладывать в каждый свой жест.

— Жена очень недовольна моими визитами, во время которых я ничего не покупаю. Она опасается, как бы на базарах за мной не закрепилась репутация скряги. Я, разумеется, мог бы купить что-нибудь, неважно что…

— Вы бы меня оскорбили, ваше превосходительство, — сказал Ахмед.

— Я не знаю в чем дело, я не нахожу вещи, которую бы мне действительно захотелось иметь. Даже от этой статуэтки, совершенство которой признал бы любой специалист, у меня возникает ощущение приблизительности.

Ахмед, как завороженный, следил за пальцами дипломата, двигавшимися вокруг бронзовой статуэтки в своем ритуальном танце.

— Дочь утверждает, что у меня руки скульптора и что я упустил свое призвание…

Ахмед только головой покачал от юношеской дерзости.

— Так почему бы вам не попробовать, ваше превосходительство? — спросил он. — Известны случаи, когда крупнейшие мастера раскрылись довольно поздно… Позвольте предложить вам чашку кофе.

Они прошли во дворик. Молодой музыкант почтительно встал; он был очень строен, а на лице, под черной как смоль шевелюрой, глаза и скулы были отмечены тонкой и одновременно дикой печатью Монголии. Граф как будто его не заметил: повернувшись к фонтану, он пил кофе, взгляд его был почти неподвижен. Ахмед кивнул юноше, и тот принялся играть. Граф мгновенно вернулся на землю: не опуская чашку, он с неожиданным интересом взглянул на инструмент.

— Это лютня, кажется? — спросил он.

— Да, — сказал Ахмед тихо. — Точнее, это уд. Аль уд, это арабское слово.

Граф отпил глоток кофе.

— Аль уд, — повторил он глуховатым голосом.

Чашка в его руках неожиданно стукнулась о блюдце. Нахмурив брови, он пристально, с некоторой суровостью разглядывал инструмент. Ахмед кашлянул.

— Аль уд, — повторил он. — Предок европейской лютни. Как видите, корпус инструмента гораздо меньше, чем у современной лютни, а ручка длиннее. Здесь только шесть струн. — Он кашлянул. — Ее завезли в Европу крестоносцы.

Граф поставил чашку на мрамор фонтана.

— Она очень красива, — сказал он, — красивее,

чем западно-европейские струнные инструменты. Я, вообще-то, считаю, что только струнные инструменты сочетают красоту звука с красотой формы… В сущности, чего недостает предметам искусства, так это способности выразить в звуке, пении эстетическую радость, любовь и нежность того, кто к ним прикасается.

Его голос сделался чуть сиплым.

— Вы позволите? Он взял лютню в руки.

— Это было любимым развлечением наших султанов, — прошептал Ахмед.

Граф водил пальцами по инструменту. Зазвучала нота, нежная, жалобная, немного двойственная — одновременно и упрёк, и мольба продолжать. Он еще раз коснулся струн, и его рука повисла в воздухе, как нота. Юный музыкант с серьезным видом смотрел на него.

— Красивое звучание, — сухо заметил граф.

— В моей коллекции есть и такие, что датируются XVI веком, — сказал Ахмед. — Если вам будет угодно подождать…

Он побежал в свой магазин. Во время его отсутствия граф, храня молчание и опершись о бордюр вокруг фонтана, сурово смотрел прямо перед собой. Было очевидно, что он думает о сверхважных, несомненно, государственных

делах. Время от времени юный музыкант бросал на него благоговейные взгляды. Ахмед почти тут же вернулся с восхитительно сработанным инструментом, инкрустированным перламутром и разноцветными каменьями.

— И она в превосходном состоянии. Мой племянник сейчас сыграет вам что-нибудь.

Юноша взял лютню, и его пальцы пробудили в струнах сладострастный и жалобный голос, который, казалось, навсегда повис в воздухе. Граф, похоже, живо заинтересовался. Он осмотрел инструмент.

— Восхитительна, — сказал он, — восхитительна.

Он резким движением провел по струнам кончиками пальцев, словно широта жеста нужна была ему для того, чтобы справиться со своей робостью.

— Так и быть, дорогой Ахмед, я ее покупаю, — заявил он. — Вот что успокоит мою жену, и она перестанет бояться за мою репутацию. Сколько вы за нее хотите?

— Ваше превосходительство, — сказал Ахмед с совершенно искренним волнением, — позвольте мне подарить вам ее в память о нашей встрече…

Они учтиво поторговались. В машине граф, не

переставая, водил пальцами по струнам. Звук восхитительно отвечал на жест. Граф поднялся по лестнице, осторожно неся в руках предмет, и вошел в гостиную жены. Госпожа де Н… читала.

— Вот мое приобретение, — торжествующе возвестил он. — Я заплатил за нее кругленькую сумму. Но зато моей репутации теперь уже ничто не угрожает на стамбульских базарах.

— Боже мой, что вы собираетесь делать с лютней?

— Любоваться ею, — сказал граф. — Хранить ее у себя в кабинете и ласкать ее формы. Это одновременно и музыкальный инструмент, и предмет искусства, и нечто живое. Она сравнима по красоте со статуей, но обладает еще и голосом. Послушайте…

Он коснулся струн. Раздался сладостный звук и тихо растаял в воздухе.

— Очень по-восточному, — сказала госпожа де Н…

— Это был любимый инструмент султанов.

Он положил лютню на рабочий стол. Отныне он стал проводить немало времени в кабинете, сидя в кресле и с каким-то завороженным страхом разглядывая инструмент. Он боролся с ощущением растущей пустоты у себя в руках, со смутной

и одновременно деспотической жадностью, с потребностью прикасаться, разбрызгивать, мять, и мало-помалу все его естество начинало требовать — чего именно, он не знал, — и требовать властно, почти капризно; кончалось тем, что он вставал и шел прикоснуться к лютне. Он терял всякое представление о времени и, стоя возле стола, как попало ударял по струнам своими неуклюжими пальцами.

— Сегодня папа опять не меньше двух часов провел за игрой на лютне, объявила Кристель матери.

— Ты называешь это игрой? — сказала младшая сестра. — Он всегда ударяет по одной и той же струне, извлекая один и тот же звук… С ума можно сойти!

— И я того же мнения, — заявил Ник. — Его слышно во всем доме, уже никуда не спрятаться. К тому же я нахожу этот звук абсолютно мерзким… Будто мяукает мартовская кошка.

— Никола!

Госпожа де Н… в гневе положила вилку.

— Прошу тебя, следи за своей речью. Ты абсолютно невыносим.

— Это все, чему его научили в Оксфорде, — сказала младшая сестра.

— Во всяком случае, с тех пор, как он купил этот проклятый инструмент, нет никакой возможности работать, — сказал Ник. — Мне нужно готовиться к экзамену. Даже когда ничего не слышно, знаешь, что вот-вот раздастся это ужасное мяуканье, и все время ждешь этого с содроганием.

— Я же вам говорила, что отец — нераскрывшийся художник, — сказала Кристель.

— Если бы он и в самом деле что-нибудь играл, — проворчал Ник. — Так нет, всегда одна и та же нота.

— Ему бы следовало брать уроки, — подвела черту Кристель.

Странная вещь, но в тот же день граф сообщил жене о своем желании брать уроки игры на лютне.

— Шутка ли, держать в руках инструмент, из которого можно извлечь такое богатство мелодий, и быть не в состоянии сделать это, — сказал он. — Всегда ограничиваться одной-единственной нотой, это слишком монотонно. Дети жалуются, и они правы. Я попрошу Ахмеда, чтобы он порекомендовал мне кого-нибудь.

Ахмед играл во внутреннем дворике в трик-трак со своим соседом, когда в магазин вошел граф. Было в его лице, в его поведении нечто

такое, отчего по спине пресыщенного антиквара пробежала сладостная дрожь предвкушения. У дипломата был чрезвычайно важный, даже строгий вид со следами гнева во взгляде и в складке плотно сжатых губ; с какой-то странной решимостью, почти с вызовом он держал в руке трость. В его манерах Ахмед узнал даже то чувство собственного превосходства, с каким младшие чиновники посольств обычно разговаривали с тем, кто был для них всего лишь базарным торговцем: он с трудом подавил улыбку, когда граф, не отвечая на его приветствие, заговорил с ним сухо и резко.

— Тот музыкальный инструмент, что я купил у вас на днях… Как он там называется…

— Уд, Ваше превосходительство, — отозвался Ахмед, — аль уд…

— Да-да, совершенно верно. Так вот, представьте себе, дети от него без ума… Возможно, я удивлю вас, если скажу, что моя жена сама…

Ахмед ждал, вскинув брови, с неподвижным лицом, зажав в своем пухлом кулаке мухобойку.

— Словом, они все хотят научиться играть на инструменте. Дома только об этом и говорят. Я обещал им, что узнаю, не можете ли вы найти нам учителя.

— Учителя игры на лютне, ваше превосходительство? — прошептал Ахмед.

Он покачал головой. Сделал вид, что размышляет. Полуопустив веки, он, казалось, перебирает в памяти одного за другим тысячи известных ему в Стамбуле музыкантов, играющих на уде. Он наслаждался, делая это, быть может, чересчур демонстративно, но это была награда за долгий год терпения и предчувствия. Граф стоял перед ним с высоко поднятой головой, в позе, обозначающей достоинство и благородство-вне-всякого-подозрения, что наполняло гордостью сердце старого жуира. Это был один из приятнейших моментов в его жизни. Он безжалостно растягивал удовольствие.

— Послушайте! — воскликнул он наконец. — Где же была моя голова?! Мой племянник — большой мастер игры на уде, и само собой разумеется, ваше превосходительство, он будет счастлив предоставить себя в ваше распоряжение…

С этого дня два-три раза в неделю молодой племянник Ахмеда поднимался по ступенькам виллы Терапиа. Он важно здоровался с супругой посла, и слуга отводил его в кабинет графа. После этого целый час в доме звучала лютня.

Госпожа де Н… сидела в маленькой, примыка-

ющей к кабинету мужа гостиной, думая о том, что звуки должны быть слышны по всему этажу, в комнатах детей и в особенности внизу, у прислуги. В течение всего времени, пока молодой музыкант находился там, она сидела, запершись в своей гостиной, вертя в руках носовой платок, не в силах думать ни о чем другом, тщетно борясь с очевидностью, преследовавшей ее уже давно… Из-под пальцев профессионала звуки вылетали ровными, мелодичными и смелыми, у любителя же они получались неуклюжими и робкими. За несколько уроков госпожа де Н… постарела на десять лет. Она ждала неизбежного. Ежедневно она уединялась во французской церкви в Пера и долго молилась. Но она не довольствовалась одними только молитвами. Она решилась пойти гораздо дальше. В своей любви и преданности она готова была пойти до конца. Она была готова испить до дна чашу унижения в своей борьбе за честь, поскольку речь шла не о ее чести — этот вопрос уже давно не стоял! Так что она втихомолку приняла все меры предосторожности. И когда настал этот день, которого она так страшилась, она встретила его во всеоружии.

Это случилось во время пятого или шестого визита юного музыканта.

Сопровождаемый, как обычно, слугой, он пересек маленькую гостиную, важно поздоровался с супругой посла, листавшей журнал, и вошел в покои графа. Госпожа де Н… бросила журнал и принялась ждать. Она сидела выпрямив спину, гордо вскинув голову, в руках у нее был платок, а глаза расширились. Урок, как обычно, начался не сразу, а спустя несколько минут. Вскоре из кабинета полилась томная мелодия. Было ясно, что играл юноша. Затем… Госпожа де Н… неподвижно сидела на диване, сжав губы, вцепившись пальцами в кружевной платочек. Она выждала еще минуту, взгляд ее остановился, серьги дрожали все сильнее и сильнее… По-прежнему — тишина. Еще несколько мгновений она продолжала надеяться, боролась с очевидным. Но с каждой секундой тишина все чудовищнее разрасталась вокруг нее, и ей показалось, что она заполняет весь дом, спускается по лестнице, открывает все двери, проходит сквозь стены, достигает слуха детей — и вот уже на лицах притаившихся слуг появляются глупые и ехидные ухмылки. Она резко встала, заперла двери гостиной и подбежала к китайскому шкафу в углу. Вынув из кармана ключ, она открыла шкаф и достала оттуда лютню. Затем она вернулась на диван, положила ин-

струмент себе на колени и ударила по струнам. Время от времени она останавливалась, в отчаянье, прислушивалась и вновь начинала бить кончиками пальцев по ненавистным струнам. Она не сомневалась, что звучание лютни слышно и в комнатах детей, и во дворе у слуг, и никому даже в голову не придет, что это сладострастные и нестройные звуки втайне рождаются под ее пальцами. «Быть может, — думала она, — быть может, он все-таки дотянет до выхода в отставку без скандала, и никто даже не заметит… Осталось подождать лишь несколько лет. Не сегодня завтра они переберутся в посольство в Париже или Риме, надо только продержаться еще немного, избежать огласки, сплетен, злых языков… Дети уже взрослые, и, как бы там ни было, первые подозрения не сразу преодолеют стены всеобщего уважения, приобретенного им за годы службы».

Она продолжала ударять пальцами по струнам, прерываясь порой лишь на мгновенье, чтобы прислушаться. Полчаса истекли, и музыка в покоях графа возобновилась. Госпожа де Н… встала и вернула лютню на прежнее место в шкаф. Затем она снова села и взяла книгу. Но буквы двоились у нее перед глазами, и ей не оставалось ничего другого, как выпрямить спину и сидеть с книгой

в руках, стараясь не расплакаться.

Гуманист

В те времена, когда к власти в Германии пришел фюрер Адольф Гитлер, жил в Мюнхене некто Карл Леви, фабрикант игрушек по роду своих занятий, человек жизнерадостный, оптимист, верящий в человечество, хорошие сигары и демократию и не принимающий чересчур близко к сердцу крикливые заявления нового канцлера, будучи убежденным, что разум, чувство меры и некая врожденная справедливость, несмотря ни на что, близкая любому человеку, в самом скором времени возобладают над сиюминутными заблуждениями.

На настойчивые предостережения приятелей, приглашавших его последовать за ними в эмиграцию, герр Леви отвечал доброй усмешкой и, удобно устроившись в кресле, не выпуская изо рта сигары, предавался воспоминаниям о старых друзьях по окопам Первой мировой — некоторые из них, сегодня высоко поднявшиеся, не преминули бы в случае надобности замолвить за него словечко. Угостив обеспокоенных приятелей рюмкой ликера, он провозглашал тост за человечество, в которое, как он выражался, будь оно

в нацистской или прусской форме, в тирольской шляпе или рабочей кепке, он крепко верит. И факт, что в первые годы нового порядка герр Карл не испытывал ни слишком больших опасностей, ни даже неудобств. Бывало, конечно… Как-то его оскорбили, в чем-то притеснили, но то ли окопные друзья и впрямь втайне помогали ему, а может, его собственное истинно немецкое жизнелюбие и соответственно внушающий доверие вид сыграли определенную роль, но до поры до времени власти не проявляли к нему никакого интереса, и, пока те, чьи свидетельства о рождении оставляли желать лучшего, направлялись в изгнание, наш друг продолжал спокойную жизнь, деля время между своей фабрикой, домашней библиотекой, сигарами и прекрасным винным погребом, поддерживаемый непоколебимым оптимизмом и верой в человечество.

Потом грянула Вторая мировая, и положение несколько ухудшилось. Настал день, когда его решительным образом не пропустили на собственную фабрику, а назавтра какие-то молодчики в форме накинулись на него и крепко потрепали. Герр Леви бросился к телефону, но окопные друзья все как один куда-то исчезли, и он впервые почувствовал беспокойство. Вой-

дя к себе в кабинет, он остановился и долгим взглядом окинул стеллажи книг, закрывавшие стены. Взгляд его был долгим и пристальным; сокровища мудрости говорили в пользу людей, в их защиту и оправдание, умоляя герра Карла не терять мужества и не поддаваться отчаянию. Платон, Монтень, Эразм, Декарт, Гейне… Следовало доверять великим, набраться терпения, дать человеческому время проявить себя, разобраться в этом хаосе и недоразумениях, одержать над ними верх. Французами придумано отличное выражение на этот счет — прогоните естество, говорится у них, оно бегом вернется к хозяину. Великодушие, справедливость, разум победят и на сей раз, хотя, очевидно, для этого может потребоваться какой-то срок. Главное, не терять веру, не впадать в уныние, хотя не мешало бы и принять кое-какие меры предосторожности.

Герр Карл сел в кресло и задумался.

Это был пухлый розовощекий человек с поблескивающими стеклами очков, тонкими губами, изгиб которых, казалось, хранил следы всех когда-либо слетавших с них прекрасных слов.

Долго и внимательно оглядывал он книги, знакомые безделушки, будто испрашивая совета, и понемногу глаза его стали оживать, лицо засве-

тилось лукавой улыбкой, и, обращаясь к тысячам томов, герр Карл поднял перед собой тонкий бокал, как бы заверяя их в своей верности.

На службе у герра Карла уже четверть века состояла чета добрых мюнхенцев. Она — экономка и кухарка, прекрасно готовившая его любимые блюда, он — шофер, садовник и сторож. У герра Шульца была единственная страсть чтение. По вечерам, когда его супруга принималась за вязание, он на долгие часы погружался в книгу, взятую по рекомендации герра Карла. В их маленьком домике в глубине сада нередко звучали зачитываемые вслух достойнейшие и вдохновеннейшие строки. Любимыми авторами герра Шульца были Гете, Шиллер, Гейне, Эразм. Случалось, в минуты одиночества герр Карл приглашал друга Шульца заглянуть к нему в кабинет, где, раскурив сигары, они подолгу беседовали о бессмертной душе, свободе и прочих прекрасных вещах, упоминаемых в тех самых книгах, на которые оба поглядывали с трепетным почтением.

Вот почему именно к другу Шульцу и его супруге обратился герр Карл в этот трудный для него час. Прихватив с собой коробку сигар и бутылочку вина, он навестил их в маленьком домике на краю сада и изложил свой план.

На следующий день герр и фрау Шульц принялись за дело. Был скатан в рулон ковер из кабинета герра Карла, в полу проделано отверстие и установлена лестница, ведущая в подпол. Прежний вход замуровали. К этому времени туда уже была перенесена добрая половина всех книг, сигары и вина. Фрау Шульц с сугубо немецким чувством уюта приложила невероятные старания, чтобы уже через несколько дней подпол превратился в милую и обустроенную комнатку. Вход в нее тщательно замаскировали плотно подогнанной крышкой, закрытой сверху ковром. После чего герр Карл в сопровождении друга Шульца в последний раз вышел из дому подписать необходимые бумаги и оформить фиктивную продажу фабрики и дома, дабы уберечь их от конфискации. При этом герр Шульц настоял на том, чтобы герр Карл сохранил при себе расписки и документы, которые позволят законному владельцу в нужный момент вступить во владение своим имуществом. Потом заговорщики вернулись домой, и герр Карл, хитро улыбаясь, спустился в свое укрытие, чтобы в надежном месте дождаться наступления лучших времен.

Дважды в день, в полдень и в семь часов вечера, герр Шульц, приподняв ковер, снимал крышку

подпола, и его супруга относила вниз прекрасно приготовленные блюда и бутылку хорошего вина, а вечером друзья собирались вместе, чтобы побеседовать о каком-нибудь возвышенном предмете: правах человека, терпимости, бессмертии души, — и маленький подпол, казалось, озарялся их по-рыцарски вдохновенными взорами.

В первое время герр Карл просил также приносить ему газеты и держал у себя радиоприемник, но примерно через полгода, поняв, что известия становятся все более и более тревожными и мир, как видно, действительно катится к своей гибели, он приказал радио убрать, чтобы ни единым упоминанием о сиюминутных переменах не подорвать желанную веру в человечество. Так, скрестив на груди руки, поигрывая улыбкой на губах, герр Карл продолжал оставаться твердым в своих убеждениях, отказываясь иметь в своем подполе малейший контакт с тревожной действительностью, лишенной будущего. Под конец он отказался даже от чтения угнетавших его газет и довольствовался перечитыванием шедевров, черпая из них вечную силу противостоять временному во имя поддержания своей веры.

Герр Шульц с супругой перебрались в дом герра Карла, чудесным образом сохранившийся от

бомбардировок. На фабрике у герра Шульца поначалу были сложности, но бумаги существуют именно на такой случай, и они подтвердили, что он вступил в законное владение делом после бегства герра Карла за границу.

Жизнь при искусственном освещении и недостатке свежего воздуха прибавила герру Карлу полноты, щеки его по прошествии нескольких лет потеряли прежний румянец; тем не менее оптимизм и вера в человечество крепли, он мужественно держался в своем погребе, ожидая, пока на земле восторжествуют великодушие и справедливость, и, несмотря на то что известия, которые приносил ему из внешнего мира друг Шульц, были крайне плохи, он не поддавался отчаянию.

…Несколько лет спустя после падения третьего рейха некий друг герра Карла, возвратясь из эмиграции, навестил особнячок на Шиллерштрассе.

Дверь ему открыл высокий, седеющий, слегка сгорбленный господин профессорской наружности. В руках он держал раскрытый томик Гете. Нет, герр Леви здесь больше не живет. Он не оставил никакого адреса, и все поиски после окончания войны не дали никакого результата. Всего доброго! Дверь закрылась. Герр Шульц

поднялся в дом и направился в библиотеку. Его супруга уже приготовила поднос. Теперь, когда в Германии вновь заговорили об изобилии, она баловала герра Карла самыми изысканными блюдами. Ковер был скатан, крышка подпола поднята. Герр Шульц отложил томик Гете, взял поднос и спустился вниз.

Герр Карл сильно ослаб и страдает флебитом. К тому же стало пошаливать сердце. Следовало позвать врача, но нельзя подвергать Шульцев такой опасности, их расстреляют, если кто-то прослышит, что они уже многие годы кого-то прячут у себя в подполе. Надо терпеть и не сомневаться, что совсем скоро справедливость, разум и человеческое великодушие победят. Главное — не терять надежду.

Каждый день, когда герр Шульц приносил в подпол плохие новости оккупация Гитлером Англии особенно сильно огорчила герра Карла, — он старался найти для друга Шульца доброе словечко и подбодрить его. Он жестом показывает на книги, напоминая, что человеческое побеждало всегда, и только так могли родиться великие шедевры. Герр Шульц возвращается наверх значительно успокоившимся.

Дела на фабрике игрушек идут замечательно.

В 1950 году герр Шульц сумел расширить производство и удвоить оборот, он компетентный руководитель.

Каждое утро фрау Шульц относит вниз букетик живых цветов, которые она ставит у изголовья кровати герра Карла. Она поправляет ему подушки, помогает переменить позу и кормит его с ложечки, поскольку у самого у него уже не хватает сил. Теперь он едва может говорить; но порой глаза его наполняются слезами, и благодарный взгляд останавливается на лицах прекрасных людей, которые столько лет помогают ему сберечь веру в них и в человечество вообще, и чувствуется, что умрет он счастливым и удовлетворенным, полагая, что все-таки был прав.

Декаданс

Мы уже пять часов летели над Атлантическим океаном, и в течение всего этого времени Карлос буквально не закрывал рта. Самолет «Боинг» был арендован профсоюзом специально для того, чтобы доставить нас в Рим, и мы являлись единственными пассажирами; было маловероятно, что на борту спрятаны микрофоны, и Карлос так самозабвенно рассказывал нам о перипетиях профсоюзной борьбы за последние сорок лет, безбоязненно вскрывая по ходу дела тот или иной пребывавший до сих пор в тени факт из истории американского рабочего движения — я, например, не знал, что казнь Анастазиа в кресле салона причесок отеля «Шератон» и «исчезновение» Супи Фирека имели самое прямое отношение к усилиям федеральных властей разобщить рабочих-докеров, — что у меня то и дело пробегал холодок по спине: есть все-таки вещи, которых лучше иногда не знать. Карлос порядочно выпил, но вовсе не из-за алкоголя он с таким упоением и словоохотливостью предавался душевным излияниям. Я даже не уверен, что он обращался именно к нам: временами у меня

складывалось впечатление, что он рассуждает вслух, охваченный нешуточным волнением, которое становилось все сильнее по мере того, как самолет приближался к Риму.

Разумеется, неизбежность предстоящей встречи ни одного из нас не оставляла равнодушным, однако в Карлосе угадывалась внутренняя тревога, граничившая со страхом, и мы, кто хорошо его знал, находили нечто поистине впечатляющее в этих нотках покорности и почти обожания, сквозивших в его голосе, когда он вспоминал о легендарном облике Майка Сарфати — гиганта из Хобокена, который однажды возник на морском фасаде Нью-Йорка и совершил то, о чем ни один из выдающихся пионеров американского рабочего движения никогда даже и не мечтал. Надо было слышать, как Карлос произносил это имя: он понижал голос, и почти умильная улыбка смягчала это неподвижное и одутловатое лицо, отмеченное печатью суровости после сорока лет, проведенных в очаге столкновения социальных интересов.

— Это была решающая эпоха — решающая, вот самое точное слово. Профсоюз как раз менял политику. Все были настроены против нас. Пресса обливала нас грязью, политиканы пы-

тались прибрать нас к рукам, ФБР совало нос в наши дела, и докеры были разобщены. Размер профсоюзного взноса только что установили на уровне двадцати процентов от зарплаты, и каждый стремился контролировать кассу и извлечь из этого пользу прежде всего для себя. В одном только нью-йоркском порту имелось семь профсоюзных объединений, каждое из которых норовило урвать кусок пирога пожирнее. Так вот, Майку хватило одного года, чтобы навести там порядок. И действовал он совсем не так, как чикагские заправилы, эти Капоне, Гузики, Музика, только и знавшие, что хорошо платить своим людям и отдавать приказы по телефону — нет, он не гнушался трудиться и сам. В тот день, когда кому-нибудь вздумается очистить дно Гудзона перед Хобокеном, в иле найдут не менее сотни цементных бочонков, и Майк всегда наблюдал сам, как парня замуровывали в цемент. Случалось, типы были еще живы и даже барахтались. Майку очень нравилось, когда они выражали несогласие: ведь так, когда их цементировали, получались интересные позы. Майк говорил, что они чем-то похожи на жителей Помпеи, когда их нашли в лаве, две тысячи лет спустя после трагедии: он называл это «работать для потом-

ков». Если какой-то паренек становился чересчур шумлив, Майк всегда старался его урезонить. «Ну что ты вопишь? — говорил он ему. — Ты станешь частью нашего художественного наследия». Под конец он стал привередничать. Ему нужен был специальный, быстросхватывающий цемент: так он мог видеть результат сразу после окончания работы. В Хобокене обычно ограничиваются тем, что запихивают бедолагу в раствор, заколачивают бочонок, бросают его в воду, и дело сделано. Но с Майком это было нечто особенное, очень личное. Он требовал, чтобы на парня выливали очень тонкий слой раствора, чтобы он хорошо схватился, чтобы можно было видеть четко обозначенное выражение лица и потом все положение тела, как будто это статуя. Типы, как я уже сказал, во время операции немного извивались, и это иногда давало весьма забавные результаты. Но чаще всего одна рука у них была прижата к сердцу, а рот — раскрыт, словно они произносили красивые речи и клялись в том, что вовсе и не пытались конкурировать с профсоюзом, что они за единство рабочего класса и безобидны, как овечки, и это очень расстраивало Майка, потому как у них у всех тогда были одинаковые лица и одинаковые жесты, и когда раствор застывал, они

все были похожи друг на друга, а Майк считал, что так быть не должно. «Халтурная работа», — говорил он нам. Мы же хотели только одного: как можно скорее опустить бедолагу в бочонок, бочонок — в воду и больше об этом не думать.

Не скажу, что мы очень рисковали: доки хорошо охранялись ребятами из объединения, полиция нос туда не совала — это были внутренние дела профсоюза, и блюстителей порядка они не касались. Но работенка нам не нравилась: облитый раствором с ног до головы парень вопит, тогда как он уже весь белый и затвердевает, а черная дыра рта продолжает высказывать пожелания, — тут надо иметь поистине крепкие нервы. Майк, бывало, брал молоток и зубило и тщательно отделывал детали. В частности, мне вспоминается Большой Сахарный Билл, грек из Сан-Франциско, тот, который хотел сохранить западное побережье независимым и отказывался присоединиться, — Лу Любик пытался сделать то же самое с чикагскими доками годом раньше, результат вам известен. Только в отличие от Лу Большой Сахарный Билл сидел очень крепко, его поддерживало все местное руководство, и он остерегался. Он был даже чертовски осторожен. Разумеется, он не хотел разъединять трудящихся,

он выступал за единство рабочих и все такое, но только с выгодой для себя, ну, вы понимаете. Перед тем как встретиться с Майком и обсудить ситуацию, он потребовал заложников: брата Майка, который тогда отвечал за связи с политическими кругами, плюс двух профсоюзных боссов. Ему их прислали. Он приехал в Хобокен. Однако когда все собрались, то сразу увидели, что дискуссия Майка совсем не интересует. Он мечтательно смотрел на Большого Сахарного Билла и никого не слушал. Надо сказать, что грек был на удивление хорошо сложен: метр девяносто, смазливая физиономия, которая волновала сердца девиц, — чем он и завоевал свое прозвище. Тем не менее крепко спорили целых семь часов, разбирали по косточкам единство рабочих и необходимость борьбы с уклонистами и социал-предателями, которые не желали ограничиваться защитой своих профсоюзных интересов и норовили втянуть движение в политические махинации, и в течение всего этого времени Майк не спускал глаз с Большого Билла.

В перерыве заседания он подошел ко мне и сказал: «Не вижу смысла дискутировать с этим подонком, будем с ним кончать». Я хотел было открыть рот, чтобы напомнить ему о его брате и

двух других заложниках, но сразу почувствовал, что это бесполезно: Майк знал, что делает, да и к тому же это правда, что были затронуты высшие интересы профсоюза. Мы продолжали разглагольствовать ради проформы, и после окончания работы, когда Большой Сахарный Билл вышел из ангара, мы их всех укокошили, его, адвоката и двух других делегатов — рабочих из Окленда. Вечером Майк прибыл самолично понаблюдать за операцией, и, когда грек был полностью залит цементным раствором, вместо того чтобы бросить его в Гудзон, он подумал секунду, улыбнулся и сказал: «Отложите его в сторону. Надо, чтобы он затвердел. На это уйдет не меньше трех дней». Мы оставили Большого Сахарного Билла в ангаре под присмотром одного активиста и вернулись туда через три дня. Майк тщательно его осмотрел, ощупал цемент, еще немного его обработал — тут постучал молоточком, там — зубилом, и остался как будто бы доволен. Он выпрямился, еще раз оглядел его и сказал: «Ладно, положите его в мою машину». Мы сперва не поняли, он повторил: «Положите его в мою машину. Рядом с шофером».

Мы переглянулись, но спорить с Майком никто не собирался. Мы перенесли Большого Сахарного

Билла в «кадиллак», поместили его рядом с шофером, все сели в машину и принялись ждать. «Домой», — сказал Майк. Ладно, приезжаем на Парк-авеню, останавливаемся во дворе дома, вытаскиваем Большого Сахарного Билла из тачки, привратник нам улыбается, держит фуражку в руке. «Красивая у вас статуя, господин Сарфати, — почтительно говорит он. — По крайней мере понятно, что это. Не то что эти современные штучки с тремя головами и семью руками».

«Да, — говорит Майк, смеясь. — Это классика. Греческая, если быть точным». Впихиваем Большого Сахарного Билла в лифт, поднимаемся, Майк открывает дверь, входим, смотрим на патрона. «В гостиную», — приказывает он нам. Входим в гостиную, ставим Большого Сахарного Билла у стены, ждем. Майк внимательно разглядывает стены, раздумывает и потом вдруг протягивает руку. «Туда, — говорит он. — На камин». Мы сразу не сообразили, но Майк пошел, снял картину, которая там висела, большая такая картина, которая изображала разбойников, нападающих на дилижанс. Ладно, решили мы, делать нечего. Ну и водрузили Большого Сахарного Билла на камин, там его и оставили. С Майком главное — не пытаться спорить.

Потом уже, конечно, мы долго это обсуждали между собой, чтобы выяснить, зачем Майку понадобился Большой Сахарный Билл на камине своей гостиной. У каждого были на этот счет свои идеи, но поди узнай. Разумеется, для профсоюза это явилось крупной победой. Большой Сахарный Билл был опасным субъектом, единство рабочих-докеров было спасено, и Спац Маркович считал, что Майк желает сохранить Большого Билла на стене как трофей, напоминающий ему о победе, которую он одержал. Во всяком случае он держал его у себя на камине годы, пока его не осудили за уклонение от уплаты налогов, упекли в тюрьму, а потом выслали. Да, это единственное, что они смогли против него найти, да и то лишь с помощью политических профсоюзов. В тот момент он и передал статую в Музей американского фольклора в Бруклине. Она и сейчас там. Надо сказать, что для Майка все это не прошло даром — тело его брата нашли в мусорном баке на набережной Окленда, — но Майк был не из тех, кто торгуется, когда затрагиваются интересы профсоюза. Он сам, без посторонней помощи, обеспечил единство рабочих на доках, что не помешало ему лишиться американского паспорта: когда он вышел из тюрьмы, его выслали в Италию, как

некоего Счастливчика Лучано семь лет назад. Вот, друзья мои, с каким человеком вам предстоит встретиться менее чем через час. Это — исполин. Да, исполин — другого слова я не нахожу…

Нас было трое. Шимми Кюниц, телохранитель Карлоса, единственным занятием которого, кроме отправления физиологических функций, было по пять часов в день стрелять по мишени из кольта. Таков был его образ жизни. Когда он не стрелял, он ждал. Чего именно он ждал, я не знаю. Возможно, того дня, когда его нашли мертвым в «Либбиз» с тремя пулями в спине. Ловкач Завракос, седеющий человечек, лицо которого являло собой нечто вроде постоянной выставки необычайно разнообразных нервных тиков; он был нашим адвокатом-советником и настоящей ходячей энциклопедией истории профсоюзного движения: он мог назвать по памяти имена всех пионеров, торговый оборот каждого, вплоть до калибра оружия, которым они пользовались. Что касается меня, я закончил Гарвард, провел несколько лет в солидных заведениях типа «public relations»[4] и находился там главным образом для того, чтобы следить за соблюде-

[4] Примечания: 4
Здесь: отдел связи с печатью, пресс-бюро *(англ.).*

нием приличий и заниматься диалектической презентацией нашей деятельности; я старался изменять, насколько это было возможно, не очень благоприятный образ, складывавшийся у общественности о наших руководителях — людей зачастую с более чем скромным социальным происхождением, не забывая вести скрытую пропаганду профсоюзов, насквозь пронизанных подрывными элементами.

Мы собирались встретиться в Риме с Сарфати по двум причинам: во-первых, потому, что его приговор о высылке был недавно кассирован Верховным судом вследствие нарушения судебной процедуры, а также потому, что рабочее движение переживало поворотный момент в своей истории. Наш профсоюз намеревался пойти на штурм всех транспортных средств: дорожных, воздушных, речных и железнодорожных. Это был жирный кусок. Подчиненные политическим партиям профсоюзы противились нашим усилиям и пытались мешать нам выходить из портов: положение становилось крайне серьезным. Нам нужен был лидер, и не просто выдающийся борец, но человек, чье имя прозвучало бы в ушах наших активистов как гарантия победы. Майк Сарфати был таким человеком. Он первый по-

нял, возможно, инстинктивно почувствовал, что традиционный американский капитализм вступал в период своего заката и что подлинным источником богатства и могущества являются не предприниматели, а рабочий класс. Гениальность Майка заключалась в осознании того факта, что синдикализм чикагского типа полностью изжил себя и что защита интересов трудящихся открывает возможности неизмеримо большие, чем те, что такие первооткрыватели, как Багз Моран, Лу Бачалтер или Фрэнки Костелло, навязывали прежде торговцам. Он довлел до того, что потерял всякий интерес к торговле наркотиками, проституции и игровым автоматам, и все свои усилия направил на рабочий класс, несмотря на сопротивление — впрочем, довольно быстро подавленное — консервативных сил профсоюза, не желавших приспосабливаться к новым историческим условиям. Крупным предпринимателям и федеральным властям удалось на время приостановить его деятельность, выслав его из страны; сейчас известие о его возвращении на передний край профсоюзной борьбы за единство рабочего класса посеет панику в рядах наших конкурентов.

Мы прибыли в Рим во второй половине дня,

ближе к вечеру. В аэропорту нас ждал «кадиллак» с водителем в ливрее и секретаршей — итальянкой зрелого возраста, которая говорила о Майке с взволнованным тремоло в голосе. Господин Сарфати очень извиняется, но он не смог оторваться от дел. Он много работает. Готовится к поездке в Нью-Йорк. Он практически уже шесть недель не покидает свою виллу. Карлос понимающе кивнул.

— Осторожность никогда не помешает, — сказал он. — Его там хоть хорошо опекают?

— О! Разумеется, — заверила нас секретарша. — Я сама слежу за тем, чтобы его никто не беспокоил. Он думает, что успеет, но Нью-Йорк очень его торопит, и он вынужден работать с удвоенной энергией. Конечно, это большое событие в его жизни. Но он будет очень рад увидеться с вами. Он мне много о вас рассказывал. Он знал вас еще в то время, когда занимался абстрактным искусством, если я правильно поняла. Да, господин Сарфати очень любит рассказывать о своих первых шагах в искусстве, — лепетала секретарша. — Кажется, одно из его произведений находится в Музее американского фольклора в Бруклине. Статуя под названием «Большой Сахарный Билл»…

Карлос едва успел поймать выпавшую изо рта сигару. Лицо Ловкача Завракоса покрылось целым букетом жутких нервных тиков. Очевидно, и у меня самого вид был довольно глупый; только Шимми Кюниц не выразил никакого волнения: у него был такой отсутствующий вид, что мы перестали обращать на него внимание.

— Он вам об этом рассказывал? — спросил Карлос.

— О да! — воскликнула старушенция, широко улыбнувшись. — Он частенько подшучивает над своими первыми попытками. Хотя он от них и не отрекается: он даже находит их весьма забавными. «Contessa,[5] — говорит он мне (он всегда называет меня „contessa“, я и сама не знаю почему), — contessa, в самом начале мое искусство было очень абстрактно, нечто вроде американского примитивизма, как у Грэндма Мозеса, словом, настоящий наив. „Большой Сахарный Билл“, возможно, лучшее, что я создал в этом жанре — прекрасный образчик того, что мы там называем „американа“, — тип, согнутый пополам, схватившийся за живот в том месте, где его прошило автоматной очередью, в шапке,

---

[5] Примечания: 5
Contessa — графиня*(ит.).*

съехавшей на глаза, — но это было не совсем то, что я хотел. Я, разумеется, еще не нашел себя, я еще только начинал ориентироваться в самом себе. Если когда-нибудь будете в Бруклине, непременно взгляните. Вы убедитесь, что я далеко продвинулся вперед с тех пор». Но я полагаю, вы лучше меня знаете творчество господина Сарфати…

Карлос оправился от удивления.

— Да, мадам, — произнес он с пафосом. — Мы хорошо знаем творчество Майка и уверены, что он создаст еще более значительные произведения. Позвольте мне заметить, что вы работаете на великого человека, на великого американца, чьего возвращения с нетерпением ждут все трудящиеся и чье имя скоро узнает весь мир…

— О! Я в этом нисколько не сомневаюсь! — воскликнула секретарша. — Уже «Альто», в Милане, посвятил ему весьма хвалебную статью. И я могу вас заверить, что два последних года он ничем другим не занимался, кроме работы, и сейчас чувствует себя вполне готовым к возвращению в Соединенные Штаты.

Карлос только кивнул и не сказал ни слова. Никогда нельзя было знать наверняка, что выражают глаза Ловкача Завракоса из-за всех его

тиков, но мне показалось, он бросает в мою сторону обеспокоенные взгляды. Надо сказать, что и я был несколько озадачен — что-то не клеилось, недоразумение какое-то, — меня одолевали смутные опасения, я испытывал нечто вроде предчувствия, которое начинало переходить в страх.

«Кадиллак» на полной скорости мчался по римской равнине, мимо разрушенных акведуков и кипарисов. Затем он нырнул в парк, проехал по олеандровой аллее и остановился перед виллой, которая, казалось, вся была сделана из стекла и имела странную асимметричную форму, нечто вроде накренившегося треугольника. Я был несколько раз в нью-йоркском Музее современного искусства, однако должен признать, что, оказавшись внутри, я все же испытал шок: трудно было представить, что именно здесь живет один из выдающихся деятелей американского синдикализма. На всех фотографиях, что я видел, Майк Сарфати был изображен стоящим на набережной Хобокена, в окружении сурового пейзажа с кранами, конвейерами, бульдозерами, ящиками и арматурой. Сейчас я оказался на своего рода застекленной веранде, среди мебели с искаженными формами, которая словно вышла

из кошмарного сна, под светящимся потолком, цвет которого все время менялся и откуда свисали железные предметы: они вращались и без конца шевелились, тогда как во всех углах угрожающе возвышались массивные цементные блоки с торчащими из них трубками, шлангами и стальными пластинами; а со стен картины — ну, я так считаю, что картины, поскольку они были в рамах, — швыряли вам в лицо зловещие цветные пятна и линии, запутанные в клубки, словно змеи, и от всего этого хотелось выть. Я повернулся к Карлосу. Он стоял, широко раскрыв рот, вытаращив глаза, шапка съехала на затылок. Не сомневаюсь, что ему было страшно. Что же касается Ловкача Завракоса, он, похоже, был так шокирован, что его тики прекратились, лицо застыло в выражении крайнего изумления, и его черты были полностью различимы: у меня было такое чувство, что я вижу его впервые в жизни. Шимми Кюниц сам вышел из состояния оцепенения, быстро огляделся по сторонам, рука в кармане, словно он ждал, что в него будут стрелять.

— Что это еще такое? — рявкнул Карлос.

Он показывал пальцем на некое подобие разноцветного осьминога, который раскрывал свои

щупальца как бы для того, чтобы вас задушить.

— Это кресло Будзони, — раздался голос.

На пороге стоял Майк Сарфати. Картинки тридцати лет истории нью-йоркского порта — безжалостные схватки в прибрежной полосе, превратившие наш профсоюз в одну из самых динамичных и лучше всего организованных сил внутри рабочего движения, едва полностью не освободившую американских трудящихся от влияния идеологий и политики, что поставило бы защиту их интересов на чисто профессиональную почву, — замелькали вдруг у меня перед глазами. Две тысячи тонн протухшего мяса в намеренно выведенных из строя холодильниках на набережных, распространяющего свою вонь выше самого Эмпайер Стейт Билдинга; тела Фрэнки Шора, Бенни Стигмана, Роки Фиша и других социал-предателей, которые пытались с помощью политических спекуляций подорвать Союз изнутри, висящие на крюках для мяса у входов в бойни; обожженное серной кислотой лицо Сэма Берга на следующий день после появления его знаменитой статьи, разоблачающей то, что он называл «захват преступным профсоюзом рабочего движения»; покушения на Вальтера Рейтера и Мини — все это яркими вспышками молний

озарило мою память, в то время как я смотрел на героя этой победоносной эпопеи, который сейчас стоял передо мной. Он был в рабочей спецовке и выглядел, будто только что со стройки.

Я думал, что он старше: на вид ему было не больше пятидесяти. Мощные руки, плечи борца и лицо — восхитительное в своей грубости, с чертами, словно высеченными из камня. Однако меня сразу поразил фанатичный, страдальческий блеск его глаз. Он, казалось, был не только чем-то озабочен, но еще и одержим — временами на его лице читался настоящий страх, некое удивление, что придавало этой великолепной римской маске обреченный, растерянный вид. Чувствовалось, что, разговаривая с нами, он думает о чем-то своем. Но встрече с Карлосом он был как будто рад. У того же в глазах стояли слезы. Они обнялись, нежно переглянулись, похлопали друг друга по плечу. Вошел дворецкий во фраке и поставил на круглый столик поднос с напитками. Карлос выпил свой мартини, с нескрываемым отвращением огляделся вокруг себя.

— Что это такое? — спросил он, осуждающе показав пальцем на стену.

— Это картина Уолза.

— Что на ней изображено?

— Он — абстрактный экспрессионист.

— Кто?

— Абстрактный экспрессионист. Карлос улыбнулся. Его губы сжались вокруг сигары, и он принял обиженный, возмущенный вид.

— Я дам тысячу долларов первому же, кто сможет сказать мне, что здесь изображено, — сказал он.

— Ты просто к такому не привык, — заметил Майк с раздражением.

Развалившись в кресле, Карлос враждебно поглядывал по сторонам. Сарфати проследил за его взглядом.

— Это Миро, — пояснил он.

— Пятилетний ребенок намалюет такое же, — сказал Карлос. — А что это?

— Сулаж.

Карлос пожевал свою сигару.

— Да, так вот, я вам скажу, что это, — провозгласил он наконец. — Для этого есть название… Это декаданс. — Он торжествующе посмотрел на нас. — Декаданс. В Европе они все морально разложились, это известно. Полные дегенераты. Коммунистам достаточно только нагнуться, чтобы собрать все это дерьмо. Говорю вам, у них не осталось ничего святого. Гниль. Не стоило бы

оставлять здесь наши войска: это заразно. А это?.. Это что за похабщина?

Он нацелил свою сигару на бесформенную глыбу цемента, ощетинившуюся огромными кривыми иглами и ржавыми гвоздями и стоявшую в самом центре гостиной. Майк молчал. Его ноздри поджались, и он пристально смотрел на Карлоса. У него были серые, холодные глаза, и ощущать на себе этот взгляд было не очень приятно. Вдруг я заметил, что он сжал кулаки. Передо мной снова был легендарный Майк Сарфати, король докеров Хобокена, человек, заставивший отступить Костелло, Лучано, пятерых братьев Анастазиа и самого Спивака Чумазого, человека, который в течение пятнадцати лет был единоличным хозяином, после Бога, на набережных Нью-Йорка.

— У типа, который это сделал, не все дома, — решительно заявил Карлос. — Его следует поместить в психушку.

— Это одно из моих последних произведений, — сказал Майк. — Это сделал я.

Наступила гробовая тишина. У Карлоса глаза полезли на лоб. По лицу Ловкача Завракоса пробежали настоящие электрические разряды: казалось, его черты пытаются удрать.

— Это сделал я, — повторил Майк.

Он казался не на шутку разозленным. Он буравил Карлоса взглядом хищной птицы. Карлос, похоже, колебался. Он вытащил свой платок и промокнул лоб. Инстинкт самосохранения, однако, взял верх.

— Ах, вот как! — сказал он. — Поскольку это сделал ты… — Он с отвращением посмотрел на «скульптуру», затем, по-видимому, решил о ней забыть. — Мы пришли, чтобы поговорить с тобой, Майк, — сказал он.

Майк его не слушал. Он с гордостью взирал на глыбу цемента, утыканную гвоздями и иглами, и когда он начал говорить, то сделал это удивительно мягко — с каким-то восхищением в голосе, — и вновь выражение удивления, почти простодушия, промелькнуло у него на лице.

— Ее репродукцию напечатали в «Альто», — сказал он, — на обложке. Здесь это лучший журнал по искусству. Они говорят, что мне удалось передать четвертое измерение — измерение пространства — время, понимаете, Эйнштейн и все такое. У меня этого и в мыслях не было, естественно: никогда не знаешь, что ты в действительности создаешь, всегда присутствует элемент тайны. Подсознание, конечно. Это породило немало споров. Поскольку я финан-

сирую журнал, развернулась самая настоящая полемика. Но эти ребята — сама честность. Их невозможно купить. У них свои принципы. Это из моих поздних работ, но внизу у меня есть и другие вещи. Они в мастерской.

— Мы пришли поговорить с тобой о делах, Майк, — повторил Карлос сдавленным голосом.

Мне показалось, что он боится встать с кресла. Но Майк был уже у дверей.

— Вы идете? — крикнул он нам с нетерпением.

— Да, Майк, — сказал Карлос. — Да. Мы идем.

Мы пересекли экзотический сад с павлинами и фламинго, свободно прогуливавшимися среди каменных монстров, которые Майк поглаживал мимоходом.

— Вот это — обнаженная натура Мура, — объяснил он. — Это Бранко. Заметьте, он уже немного устарел, конечно. Я приобрел их три года назад. Они были пионерами, предвестниками, их творчество ведет прямо ко мне. Все критики здесь это мне говорят.

Карлос бросил на меня взгляд, полный отчаяния. В другом конце сада стоял стеклянный домик, крыша которого — из алюминия — начиналась у самой земли и образовывала нечто вроде русской горки, прежде чем коснуться зем-

ли снова.

— Это работа Фиссони, — сказал Майк. — На мой взгляд, лучшего итальянского архитектора. Он коммунист. Но вы знаете, здешний коммунизм не имеет ничего общего с нашим. В нем нет ничего разрушительного. Все происходит исключительно в голове. Он очень интеллектуален. Почти все лучшие художники и скульпторы здесь коммунисты.

У Карлоса вырвалось нечто похожее на стон. Что-нибудь сказать он побоялся, но быстро показал пальцем на спину Майка и затем повертел у себя возле виска. Мы вошли в домик. Внутри, вокруг бадьи с цементом, валялись ящики, ведра, мешки с гипсом, всевозможные инструменты — мы словно очутились на стройплощадке. И повсюду были «творения» Майка. Что эти «творения» могли изображать и какова была их ценность, я и по сей день не знаю и, наверное, не узнаю уже никогда. Я видел лишь глыбы цемента странной формы, из которых торчали железные прутья и изогнутые трубы.

— Не правда ли, это не похоже ни на что из того, что вы уже видели? — с гордостью сказал Майк. — Критики «Альто» уверены, что речь идет о совершенно новых формах. Они считают меня

ярким представителем спейсиализма — держу пари, в Америке даже не знают, что это такое.

— Нет, Майк, — сказал Карлос мягко, как разговаривают с больным. — Нет, у нас еще не знают, что это такое.

— Ну что ж, скоро узнают, — с удовлетворением заметил Майк. — Все мои произведения — а их ровно тридцать — отправляются завтра в Нью-Йорк. Они будут выставлены в галерее Мейерсона.

Я никогда не забуду лица Карлоса после того, как Майк закончил говорить. Сначала — выражение недоверчивости, затем — испуга, когда он повернулся к нам, снова желая убедиться, что его слух его не подвел и что он действительно услышал то, что услышал. Но то, что он, должно быть, прочел на наших физиономиях — вернее, на моей и Шимми Кюница, потому что тики, пробежавшие по лицу Ловкача Завракоса, мешали видеть, что на нем происходило, — несомненно подтвердило его страхи, ибо выражение удивления и испуга сменилось вдруг жутким спокойствием.

— Значит, ты собираешься показывать это в Нью-Йорке, Майк? — спросил он.

— Да, — сказал Майк Сарфати. — И я ручаюсь вам, это будет сенсация.

— Это уж точно, — согласился Карлос.

Должен признаться, в тот момент я восхищался его самообладанием. Ибо не трудно было представить, что случится, если Майк Сарфати, человек, воплощавший надежды и честолюбивые устремления наших активистов в исключительно драматический момент истории профсоюза, вернется в Нью-Йорк не для того, чтобы железной рукой навязать свои законы нашим конкурентам, а для организации выставки абстрактного искусства в одной из галерей Манхэттена. Оглушительный взрыв хохота, самый настоящий прилив сарказма и насмешек — легендарный герой, который, по нашим планам, должен был с выгодой для нас обеспечить единство трудящихся от одного побережья Соединенных Штатов до другого, станет объектом самых злых шуток, которые когда-либо потрясали рабочее движение. Да, я по сей день восхищаюсь хладнокровием Карлоса. Он разве что немного вспотел: он взял новую сигару, зажег ее и теперь спокойно смотрел на Майка, миролюбиво засунув руки в карманы.

— Каталог уже напечатали, — сказал Майк. — Тиражом в пять тысяч экземпляров.

— Ах, вот как! — только и вымолвил Карлос.

— Надо будет разослать его всем моим дру-

зьям, — сказал Майк.

— Конечно, мы этим займемся.

— Пусть об этом напишут газеты. Это вопрос престижа, это очень важно. Кстати, чем должен сейчас заняться профсоюз, так это строительством Дома культуры в Хобокене.

Карлос поднял брови.

— Чего?

— Дома культуры. Русские строят их повсюду для трудящихся. Мы несправедливо критикуем коммунистов за все подряд, без разбору. У них есть и хорошее, и все лучшее из того, чего они достигли, мы должны брать на вооружение. Кстати, парень, написавший предисловие к моему каталогу, Дзучарелли, коммунист. Это не мешает ему быть лучшим искусствоведом современности.

— Коммунист, говоришь? — Карлос хмыкнул.

— Да. Я многим ему обязан. Он здорово меня поддержал. Без него я бы и подумать не мог ни о какой выставке в Нью-Йорке.

— Так, так, — сказал Карлос.

— И он очень помог мне найти свой стиль в том, чем я занимался. Он хорошо сказал об этом в предисловии, послушайте: «Поистине космическая скульптура должна выражать эйнштейновское представление о времени и пространстве, по-

стоянно изменяя свою данность в глазах того, кто на нее смотрит, посредством внутренней мутации материала, говорящей о полном отсутствии перманентной уверенности. Именно этим творчество Сарфати, отвергая неподвижность, продолжает традицию исторического марксистского релятивизма и решительно становится на путь прогрессивного искусства, определяя истинную победу пластического авангарда над реакционными элементами художественного застоя, которые, напротив, стремятся придать неподвижность формам, зафиксировав их навечно, помешать их неуклонному движению вперед, к новым социалистическим свершениям…»

Я вытер капли холодного пота, выступившие у меня на лбу: мне казалось, я присутствую при торжественном проникновении червя в плод. Было ясно, что Майка теперь уже не спасти, быстро не вылечить: наверняка на лечение уйдет несколько месяцев, да и то если он согласится. Единственное, что сейчас имело значение, это профсоюз. Нам нужно было любой ценой сохранить легенду исполина из Хобокена, раз и навсегда обезопасить его авторитетное имя, чтобы он мог и дальше служить делу рабочего единства, необходимо было спасти его от осмеяния, которое

могло нам все испортить и окончательно склонить весы в пользу наших недругов. Это был один из тех моментов в истории, когда величие дела неожиданно берет верх над всеми другими соображениями, когда важность преследуемой цели оправдывает любые средства. Весь вопрос был в том, чтобы узнать, сохранился ли еще нетронутым наш моральный дух, достаточно ли мы еще сильны и непоколебимы в наших убеждениях, или же годы процветания и легкой жизни подорвали нашу волю. Но, бросив один лишь взгляд на потрясенную, возмущенную физиономию Карлоса, на которой уже начинало вырисовываться выражение непоколебимой решимости, я окончательно успокоился: я почувствовал, что старый активист уже принял решение. Я заметил, как он кивнул Шимми Кюницу. Майк стоял у края бадьи с цементом, откуда его последнее «творение», судя по всему незавершенное, выпирало рудиментарным органом, утыканным колючей проволокой. В выражении его лица было нечто патетическое: смесь мании величия и безграничного удивления.

— Я не знал, что во мне это есть, — сказал он.

— Я тоже, — сказал Карлос. — Должно быть, ты здесь это подцепил.

— Я хочу, чтобы все наши друзья пришли и посмотрели. Я хочу, чтобы они гордились мной.

— Да, Майк, — сказал Карлос. — Да, сын мой. Твое имя останется тем, чем оно было всегда. И я все для этого сделаю.

— Нас слишком часто обвиняют в том, что мы мужланы, — сказал Майк. — Они еще увидят. Мы не можем оставить Европе монополию на культуру.

Карлос и Шимми Кюниц выстрелили почти одновременно. Майк с силой откинул голову назад, развел руки в стороны, выпрямился во весь рост и стоял так какое-то время, в той самой позе, что он сохранил в своей цементной статуе, которая сейчас возвышается при парадном въезде в общественную штаб-квартиру профсоюза Хобокена. Затем он упал вперед. Я услышал странный звук и резко повернул голову. Карлос плакал. Слезы текли по его массивному лицу, на котором, в конечном счете, из-за жалости, гнева, стыда и растерянности застыла маска трагического величия.

— Они его одурманили, — пробормотал он. — Они одурманили лучшего из нас. Я любил его как сына. Но так он, по крайней мере, не будет больше страдать. И единственное, с чем нужно

считаться, это профсоюз, единство трудящихся, которому он служил всю жизнь. Так имя Майка Сарфати, пионера профсоюзной независимости, будет жить так же долго, как и морской фасад Хобокена — и там же будет стоять его статуя. Остается только высушить его в одном из ящиков, поскольку «это» должны отправить завтра. Прибудет на место хорошо затвердевшим. Скажут, что он уехал с нами. Помогите мне.

Он снял пиджак и принялся за работу. Мы помогали ему, как могли, и вскоре в цементном растворе начала вырисовываться немного грубоватая статуя, которой все сегодня могут любоваться в Хобокене. Время от времени Карлос останавливался, вытирал глаза и бросал полный ненависти взгляд на окружавшие нас бесформенные глыбы.

— Декаданс, — пробормотал он, тяжело вздохнув. — Декаданс — вот что это такое.

Подделка

— Ваш Ван Гог — подделка.

С… сидел за своим рабочим столом, под своим последним приобретением картиной Рембрандта, которую он завоевал в открытом бою на аукционе в Нью-Йорке, где знаменитейшие музеи мира не раз признавали свое поражение.

Развалившись в кресле, Баретта — серый галстук, черная жемчужина, совсем седые волосы, сдержанно-элегантный костюм строгого покроя и монокль на одутловатом лице — вынул из нагрудного кармана платочек и вытер пот со лба.

— Вы единственный, кто трубит об этом на всех перекрестках. Кое-какие сомнения, правда, были, в определенный момент… Я этого не отрицаю. Я пошел на риск. Однако сегодня вопрос решен окончательно: портрет подлинный. Манера письма бесспорна, узнаваема в каждом мазке…

С… со скучающим видом играл разрезным ножом из слоновой кости.

— Ну так в чем же тогда проблема? Радуйтесь, что обладаете этим шедевром.

— Я вас прошу только об одном: не высказываться по этому поводу. Не бросайте свою гирю

на весы.

С… слегка улыбнулся:

— Я был представлен на аукционе… Я воздержался.

— Продавцы ходят за вами как стадо баранов. Они боятся раздражать вас. И потом, будем откровенны: самые крупные из них находятся под вашим финансовым контролем…

— Это преувеличение, — сказал С… — Я всего лишь принял кое-какие меры предосторожности, чтобы обеспечить себе некоторое преимущество на распродажах.

Взгляд Баретты был едва ли не умоляющим.

— Не понимаю, что вас настроило против меня в этом деле.

— Мой дорогой друг, будем серьезны. Поскольку я не купил этого Ван Гога, то мнение экспертов, усомнившихся в подлинности картины, естественно, получило огласку. Но если бы я ее купил, она бы не досталась вам. Верно? Что именно вы хотите, чтобы я сделал?

— Вы мобилизовали на борьбу с этой картиной все имеющиеся в вашем распоряжении силы, — сказал Баретта. — Я в курсе дела: вы используете все свое влияние, доказывая, что речь идет о подделке. А ваше влияние велико, ох как велико!

Стоит вам только сказать слово…

С… бросил разрезной нож из слоновой кости на стол и встал.

— Сожалею, мой дорогой. Очень сожалею. Вопрос — принципиальный, и вам следовало бы понять это. Я не стану соучастником подлога, даже через умолчание. У вас замечательная коллекция, и вы просто-напросто должны признать, что ошиблись. В вопросах подлинности я не иду ни на какие сделки с совестью. В мире, где повсюду торжествуют фальсификация и ложные ценности, единственное, во что остается верить, так это в шедевры. Мы должны защищать наше общество от всякого рода фальсификаторов. Для меня произведения искусства священны, подлинность — это моя религия… Ваш Ван Гог — подделка. Этого трагического гения достаточно предавали при жизни — мы можем, мы должны защитить его по крайней мере от посмертных предательств.

— Это ваше последнее слово?

— Я удивляюсь, что такой почтенный человек, как вы, может просить меня стать участником подобной махинации…

— Я заплатил за нее триста тысяч долларов, — сказал Баретта.

С… презрительно поморщился:

— Я знаю, знаю… Вы умышленно подняли цену на аукционе: ведь если бы вы получили ее за гроши… Нет, в самом деле, все это шито белыми нитками.

— В любом случае, после того как вы обронили несколько злосчастных слов, смущенные лица людей, когда они смотрят на мою картину… Все-таки вы должны понять…

— Я понимаю, — сказал С… — Но не одобряю. Сожгите холст, вот жест, который не только поднимет престиж вашей коллекции, но и укрепит вашу репутацию честного человека. И я еще раз повторяю, вы здесь ни при чем: речь идет о Ван Гоге.

Лицо Баретта одеревенело. С… узнал знакомое выражение: то, что неизменно появлялось на лицах его соперников в делах, когда он отстранял их от рынка. «В добрый час, — подумал он с иронией. — Вот так и приобретают друзей…» Но тут в дело была замешана одна из тех немногих ценностей, которыми он действительно дорожил, одна из насущнейших его потребностей — потребность в подлинности. Он и сам не мог бы ответить на вопрос, откуда у него эта странная ностальгия. Быть может, от полного отсутствия иллюзий:

он знал, что не может верить никому, что всем он обязан своему необычайному финансовому успеху, приобретенной власти, деньгам и что живет он, окруженный лицемерием комфорта, которое, хоть и приглушало всякого рода слухи, не могло, однако, служить надежной защитой от злых языков.

«Прекраснейшей частной коллекции работ Эль Греко ему мало… он еще пытается оспаривать подлинность картин Рембрандта из американских музеев. Не много ли для босяка из Смирны, который занимался воровством с витрин и продавал непристойные почтовые открытки в порту… Он нашпигован комплексами, несмотря на свой самоуверенный вид: его погоня за шедеврами не что иное, как попытка забыть свое происхождение».

Возможно, в этом и была доля правды. Он столь долго пребывал в состоянии некоторой неуверенности — не зная даже, на каком языке он думает: английском, турецком или армянском, — что непреложный в своей подлинности предмет искусства внушал ему такое почтение, какое способны породить в возвышенных и беспокойных душах лишь абсолютно незыблемые ценности. Два замка во Франции, роскошнейшие квартиры

в Нью-Йорке, Лондоне, безупречный вкус, самые лестные награды, британский паспорт — и тем не менее стоило только промелькнуть той певучей интонации, с какой он бегло говорил на семи языках, да «левантийскому», как его принято называть, выражению на лице, которое встречается также на лицах скульптур самых высоких эпох искусства Шумерской и Ашшурской, — как тут же начинали подозревать, что его гнетёт чувство социальной ущербности (говорить «расовой» уже избегали). И поскольку его торговый флот был таким же мощным, как у греков, а в его салонах работы Тициана и Веласкеса соседствовали с единственным подлинным Вермеером, обнаруженным после подделок Ван Меегерена, поговаривали, что скоро будет невозможно повесить у себя работу мастера, не опасаясь прослыть выскочкой.

С… все было известно об этих стрелах — кстати, изрядно потрепанных, которые свистели у него за спиной и которые он воспринимал как должные знаки внимания к своей персоне: он устраивал слишком хорошие приемы, чтобы высший свет Парижа отказывал ему в своих осведомителях. Последние же, с особым рвением искавшие его общества, чтобы даром провести отпуск на борту его

яхты или в его имении на мысе Антиб, сами же и высмеивали показную роскошь, которой они так естественно пользовались; и когда остаток стыда или просто изворотливость мешала им слишком явно заниматься этими опытами по психологическому восстановлению, они умело разбавляли свои слова самым необходимым количеством иронии и, между двумя приглашениями на ужин, вновь напускали на себя важность. Тем не менее С… продолжал приглашать их: он не шел на поводу ни у их подхалимства, ни у своего собственного тщеславия, которому льстило, что они вращаются вокруг него, будто под воздействием некой силы тяготения. Он называл их «мои подделки», и когда они сидели за столом или скользили на водных лыжах за быстроходными катерами, которые он предоставлял в их распоряжение, он, наблюдая за ними из окна своей виллы, улыбался и с благодарностью поднимал глаза на какую-нибудь редкую вещь из своей коллекции, умиротворяющую подлинность которой ничто не могло ни поколебать, ни подвергнуть сомнению.

В свою кампанию против купленной Баретта картины Ван Гога он не вложил ни капли личной озлобленности: человек, начавший с небольшой

бакалейной лавки в Неаполе и стоявший сегодня во главе крупнейшего пищевого треста Италии, был ему скорее симпатичен. Он с пониманием относился к этой потребности покрыть следы от сыра и колбас на стенах холстами великих мастеров — единственными гербами, которыми еще можно попытаться украсить деньги. Но Ван Гог был фальшивый. Баретта прекрасно это знал. Однако, упорно стремясь доказать его подлинность, покупая экспертов или их молчание, он попадал в сферу влияния чистой силы и поэтому заслуживал предупреждения со стороны тех, кто еще бдительно следит за соблюдением правил игры.

— У меня на столе результаты экспертизы Фолькенгеймера, — сказал С... — Я не знал, что с ними делать, но, выслушав вас... Сегодня же я передам это прессе. Недостаточно, дорогой друг, иметь возможность приобретать великолепные картины: у нас у всех есть деньги. Нужно еще проявлять к подлинным произведениям искусства элементарное уважение, если не хватает сил на настоящий пиетет... Ведь это, в сущности, предметы культа.

Баретта стал медленно вставать с кресла. Он хмурил брови и сжимал кулаки. С... с удовольствием наблюдал за непримиримым, убий-

ственным выражением на его лице: оно его молодило. Оно напоминало ему о том времени, когда приходилось с боем вырывать каждое дело у конкурента, — времени, когда у него еще были конкуренты.

— Я вам это попомню, — проворчал итальянец. — Можете не сомневаться. Мы с вами прошли примерно одинаковый жизненный путь. Скоро вы убедитесь, что на улицах Неаполя обучают ударам таким же подлым, как и на улицах Смирны.

Он бросился вон из кабинета… Не чувствуя себя неуязвимым, С…, однако, не совсем представлял, какой удар может нанести ему пусть даже очень богатый человек. Он зажег сигару, быстро проиграл в уме все свои дела, дабы убедиться, что все бреши надежно закупорены и идеальная герметичность обеспечена. После того, как полюбовно был улажен конфликт с американской налоговой администрацией, а в Панаме открыто представительство его плавучей империи, ему ничто больше не угрожало. И тем не менее после разговора с Баретта на душе у него остался неприятный осадок: снова эта скрытая неуверенность в себе, от которой он никак не мог избавиться. Он оставил свою сигару в пепельнице, встал и

отправился в голубую гостиную к жене. Тревога никогда не покидала его совсем, но когда он брал руку Алфиеры в свою или касался губами ее волос, он испытывал чувство, которое, за отсутствием лучшего определения, называл «уверенностью» — миг абсолютного доверия, единственный, который он не ставил под сомнение, когда наслаждался им.

— Вот и вы, наконец, — сказала она.

Он склонился к ее лицу:

— Меня задержал один досадный… Ну, как все прошло?

— Мать нас, разумеется, потащила в дом мод, но отец заупрямился. Мы закончили в Морском музее. Скучища.

— Надо уметь и скучать немножко, — сказал он. — Иначе вещи теряют свою привлекательность…

К Алфиере из Италии приехали родители, погостить месяца три. С… любезно — но и без колебаний — снял апартаменты в отеле «Ритц».

Со своей молодой женой он познакомился в Риме, два года назад, на приеме в посольстве Ливана. Она только прибыла из своей семейной усадьбы на Сицилии, где выросла и которую покидала впервые. Не без помощи матери она

за несколько недель взбудоражила видавшее виды столичное общество. Ей тогда едва исполнилось восемнадцать, и она отличалась редкой, в прямом смысле этого слова, красотой, как будто природа сотворила ее, чтобы закрепить свою верховную власть и принизить всё сделанное рукой человека. Копна черных волос, лоб, глаза, губы в своей гармонии представлялись как некий вызов жизни искусству, а нос, изящество которого не исключало, однако, твердости характера, придавал лицу легкость, спасая его от холодности, которая почти всегда сопутствует чересчур смелым поискам совершенства; достичь его, а возможно, избежать, удается только природе в ее великие моменты вдохновения или же благодаря таинственной игре случая. Шедевр — таково было единодушное мнение всех, кто смотрел на лицо Алфиеры.

Несмотря на все оказываемые ей почести, комплименты, вздохи и прочие восторги в ее адрес, девушка отличалась необыкновенной скромностью и робостью, за что, несомненно, были в ответе и монахини монастыря, где она воспитывалась. Она всегда выглядела смущенной и удивленной, слыша этот льстивый говор, который преследовал ее везде, где бы она ни

появилась; под пылкими взглядами мужчин она бледнела, отворачивалась, ускоряла шаг, а на лице ее читалась робость и даже смятение, достаточно неожиданное у ребенка, которому никогда ни в чем не отказывали; трудно было представить существо более очаровательное и при этом почти не осознающее всей степени своей красоты.

С… был на двадцать два года старше Алфиеры, но ни мать девушки, ни ее отец — один из тех герцогов, которыми изобилует юг Италии и на чьих гербах, со стертым серебром, сохранились лишь изображения жалких остатков латифундии, общипанных козами, — не нашли ничего аморального в этой разнице возрастов. Напротив, чрезмерная робость, неуверенность девушки в себе, от которой ее не могли излечить ни почести, ни восхищенные взгляды терявших голову поклонников, как бы подталкивали к союзу с сильным и опытным мужчиной; а репутация С… в этом плане была известна. Сама Алфиера принимала его ухаживания с явным удовольствием и даже с благодарностью. Свадьбу сыграли без помолвки, три недели спустя после первой встречи. Никто не ожидал, что С…, этот, как его неизвестно почему называли, «авантюрист», этот «пират»,

постоянно висевший на телефоне, держа связь со всеми биржами мира, в один миг «остепенится» и станет преданным мужем, посвящающим обществу молодой жены больше времени, чем своим делам или коллекциям. С… был влюблен, искренне и глубоко, но те, которые хвастались близким знакомством с ним и которые тем охотнее выдавали себя за его друзей, чем они больше его критиковали, не уставали напоминать, что, вероятно, не одной любовью объясняется тот торжествующий вид, какой появился у него после женитьбы, и что радость в сердце этого любителя искусства радость иного рода, менее чистая, а именно: то, что он похитил у других шедевр более безупречный и более ценный, нежели все его Веласкесы и Эль Греко вместе взятые. Супружеская чета обосновалась в Париже, в бывшем особняке послов Испании, в квартале Марэ. На целых полгода С… забросил дела, друзей, картины; его суда продолжали бороздить океаны, а его представители во всех частях света исправно телеграфировали ему отчеты о своих находках и готовящихся крупных аукционах, однако было очевидно, что он безразличен ко всему, кроме Алфиеры; счастье его было таким полным, что мир, казалось, становится для него спутником,

далеким и не представляющим интереса.

— Вы выглядите озабоченным.

— Да, я озабочен. Всегда неприятно поражать человека, не сделавшего тебе ничего плохого, в его самую чувствительную точку: тщеславие… Однако именно это я собираюсь сделать.

— Почему же?

С… немного повысил голос, как всегда, когда он бывал раздражен, более заметным стал певучий акцент.

— Дело принципа, моя дорогая. С помощью миллионов пытаются устроить молчаливый заговор вокруг фальшивого произведения искусства, и если мы не наведем в этом порядок, очень скоро никого не будет волновать разница между настоящим и поддельным, и самые прекрасные коллекции потеряют всякое значение…

Он не сдержался и величавым жестом указал на «Каирский пейзаж» Беллини, висевший над камином. Молодая жена как будто смутилась. Она опустила глаза, и выражение неловкости, почти грусти тенью легло на ее лицо. Она робко положила ладонь на руку мужа.

— Не будьте слишком жестоки…

— Иногда это необходимо.

Примерно месяц спустя после того, как пуб-

ликацией в большой прессе сокрушительного отчета группы экспертов во главе с Фолькенгеймером была поставлена финальная точка спорам о «Неизвестном Ван Гоге», С… нашел в своей почте фото, не снабженное никаким комментарием. Он рассеянно посмотрел на него: лицо очень юной девушки, и самая примечательная черта его — огромный нос, похожий на клюв хищной птицы. Он бросил фото в корзину для бумаг и забыл о нем. На следующий день он получил новую копию, и в течение недели, всякий раз, когда секретарша приносила почту, он находил фотографию, с которой на него смотрело лицо с уродливым носом-клювом. Наконец, вскрыв однажды утром конверт, он обнаружил приложенную к отправлению записку. Отпечатанный на машинке текст был краток: «Шедевр из вашей коллекции подделка». С… пожал плечами: он не понимал, какой интерес может представлять для него этот причудливый снимок и какое отношение имеет он к его коллекции. Он собирался уже выбросить фотографию, как вдруг его задело сомнение: глаза, рисунок губ, что-то в овале лица смутно напоминало ему Алфиеру. Это казалось смешным: никакого реального сходства не было, угадывались, да и то с трудом, лишь

отдалённые родственные черты. Он исследовал конверт: письмо было отправлено из Италии. Он вспомнил, что у жены на Сицилии осталась куча двоюродных сестер, которых он содержал в течение многих лет. С… решил поговорить с ней об этом. Он сунул фото в карман и забыл о нем. И только вечером, за ужином — он пригласил ее родителей, уезжавших на следующий день, — неясное сходство вновь пришло ему на память. Он взял фото и протянул его жене.

— Посмотрите, дорогая. Я нашел это в почте сегодня утром. Трудно представить более неудачный носовой отросток…

Лицо Алфиеры стало мертвенно-бледным. Губы ее задрожали, на глазах выступили слезы; она бросила на отца умоляющий взгляд. Герцог, сражавшийся со своей рыбой, едва не подавился костью. Его щеки вздулись и побагровели. Его глаза полезли из орбит, его густые, тщательно подкрашенные черные усы, которые гораздо лучше смотрелись бы на лице какого-нибудь карабинера, а не истинного потомка короля обеих Сицилий, встопорщились, готовые атаковать; он издал несколько сердитых звуков, поднес к губам салфетку и так резко изменился в лице, что обеспокоенный дворецкий наклонился к нему

с самым участливым, на какой только был способен, видом. Герцогиня, только что вынесшая окончательное суждение о последнем выступлении Каллас в Парижской Опере, застыла с разинутым ртом и поднятой кверху вилкой; ее чрезмерно напудренное лицо, окруженное огненно-рыжей шевелюрой, исказилось и отправилось на поиски своих черт среди жировых утолщений. Совершенно неожиданно С… не без некоторого удивления обнаружил, что нос его тещи, не будучи таким же причудливым, чем-то все же похож на нос с фотографии: он раньше заканчивался, но шел, бесспорно, в том же направлении. Внимательно посмотрев на него, он не смог удержаться, чтобы с некоторой тревогой не перевести взгляд на лицо жены: но нет, к счастью, в этих пленительных чертах не было никакого сходства с чертами ее матери. Он положил нож и вилку, наклонился, взял руку Алфиеры в свою.

— В чем дело, дорогая?

— Я чуть не подавился, вот в чем дело, — заявил герцог с пафосом. — С рыбой всегда надо быть крайне осторожным. Я очень сожалею, дитя мое, что так взволновал тебя…

— Человек вашего положения должен быть выше этого, — вставила герцогиня весьма некста-

ти, так, что С… даже не понял, намекает она на кость или подхватывает разговор, нить которого, возможно, от него ускользнула. — Вам слишком завидуют, и вряд ли стоит обращать внимание на эти сплетни. В них нет ни одного слова правды!

— Мама, прошу вас, — сказала Алфиера упавшим голосом.

Герцог выдал целую серию ворчливых звуков, которым позавидовал бы самый чистокровный бульдог. Дворецкий и оба лакея ходили вокруг да около с безразличным, как будто бы, видом, плохо скрывая живейшее любопытство. С… заметил, что ни жена, ни ее родители не смотрят на фотографию. Наоборот, они старательно отводили взгляд от лежавшего на скатерти предмета. Алфиера сидела неподвижно как статуя; она бросила салфетку и, казалось, вот-вот вскочит из-за стола; она пристально смотрела на мужа округлившимися глазами, в которых читалась немая мольба; когда тот сжал ее руку в своей, она разразилась рыданиями. С… дал знак лакеям оставить их одних, встал, подошел к жене, наклонился к ней:

— Дорогая, я не понимаю, почему эта смешная фотография…

На слове «смешная» Алфиера вся напряглась, и С… с ужасом обнаружил на этом несказанно

красивом лице выражение затравленного зверя. Когда он хотел ее обнять, она вдруг вырвалась из его рук и убежала.

— Вполне естественно, что у человека вашего положения есть враги, сказал герцог. — У меня самого…

— Вы счастливы вдвоем, и это главное, — сказала его жена.

— Алфиера всегда была необычайно впечатлительной, — сказал герцог. Завтра от этого не останется никаких следов…

— Ее надо простить, она еще так молода…

С… встал из-за стола, намереваясь пройти к жене; он нашел дверь спальни запертой и услышал всхлипывания. Когда он постучал, всхлипывания только усилились. Все его просьбы открыть оказались тщетными, и он удалился к себе в кабинет. Он совсем забыл о фотографии и недоумевал, что же могло привести Алфиеру в такое состояние. Он чувствовал неясную тревогу — какой-то безотчетный страх — и пребывал в сильном замешательстве. Так прошло около четверти часа, как вдруг зазвонил телефон. Секретарша сообщила, что с ним хочет говорить синьор Баретта.

— Скажите ему, что меня нет.

— Он настаивает. Говорит, это очень важно. Речь идет о какой-то фотографии.

— Дайте его мне.

Баретта на другом конце провода был само добродушие, но С… слишком хорошо чувствовал интонацию, чтобы не уловить в голосе своего собеседника нюанс почти злобной насмешки.

— Что вы от меня хотите?

— Вы получили фото, друг мой?

— Какое фото?

— Вашей жены, черт побери! Мне стоило таких трудов раздобыть его! Семья приняла все меры предосторожности. Они никому не разрешали фотографировать свою дочь до операции. Тот снимок, что я вам послал, сделали в монастыре Палермо монахини; групповая фотография, я специально попросил ее увеличить… Ее нос был полностью видоизменен одним миланским хирургом, когда ей было шестнадцать лет. Теперь вы видите, фальшивый не только мой Ван Гог: таков же и шедевр из вашей коллекции. Доказательство у вас перед глазами.

Раздался грубый смех, затем — щелчок: Баретта повесил трубку.

С… остался совершенно неподвижно сидеть за своим рабочим столом. Kurlik! Старое жаргонное

словечко, популярное в Смирне, оскорбительный термин, который употребляют турецкие и армянские торговцы, обозначая тех, кто позволяет себя обирать, всех наивных, доверчивых простофиль, сотрясло тишину кабинета своим явным, полным издевки, акцентом. Kurlik! Его одурачила парочка убогих сицилийцев, и не нашлось ни одного человека среди тех, кто называл себя его друзьями, чтобы раскрыть ему обман. Наверняка они смеялись у него за спиной, радуясь, что он попал впросак, видя, с каким обожанием он относится к подделке, он, человек, прослывший обладателем безупречного вкуса и не допускавший никаких компромиссов в вопросах подлинности… «Шедевр из вашей коллекции — подделка…» Висевший напротив этюд к «Толедскому распятию» на миг вызвал у него раздражение бледностью желтых и глубиной зеленых тонов, затем помутнел, исчез, оставив его одного в презрительно-враждебном мире, так по-настоящему и не принявшем его, видящем в нем лишь выскочку, которого достаточно долго эксплуатировали, чтобы с ним надо было церемониться! Алфиера! Единственный человек, которому он полностью доверял, на кого мог положиться в трудную минуту… Она послужила

инструментом в руках затравленных жуликов, скрыла от него свое истинное лицо, и в течение двух лет нежной близости ни разу не нарушила заговора молчания, не сделала даже и попытки признаться хотя бы из жалости… Он попробовал взять себя в руки, подняться над этими гнусностями: пора было забыть, наконец, о своих сокровенных обидах, избавиться раз и навсегда от еще сидевшего в нем жалкого чистильщика сапог, который просил милостыню на улицах, спал под витринами и которого любой мог обругать и унизить…

Он услышал слабый шум и открыл глаза: в дверях стояла Алфиера. Он встал. Он усвоил привычки высшего света, обучился хорошим манерам; он знал слабости человеческой натуры и был способен их прощать. Он встал и, надев на себя маску снисходительной иронии, которую так хорошо умел носить, сделал попытку вернуться к роли терпимого светского человека, которую ему удавалось играть с такой легкостью. Но когда он попытался улыбнуться, все его лицо исказилось; он хотел показаться невозмутимым, но его губы дрожали.

— Почему вы мне не сказали?

— Мои родители…

Он с удивлением услышал свой презрительный, почти истеричный голос, кричавший где-то очень далеко:

— Ваши родители — бессовестные люди…

Она плакала, положив ладонь на ручку двери, не решаясь войти, повернувшись к нему с выражением ошеломляющей мольбы на лице. Он хотел подойти к ней, обнять, объяснить… Он знал, что нужно проявить великодушие и понимание, что уязвленное самолюбие — ничто рядом с этими вздрагивающими от рыданий плечами, рядом с таким горем, и, разумеется, он бы все простил Алфиере, но не Алфиера стояла перед ним: это была другая женщина, посторонняя, с которой он даже не был знаком, которую ловкость фальсификатора скрыла от его взглядов. Какая-то сила настойчиво понуждала его восстановить на этом очаровательном лице уродливый нос, похожий на клюв хищной птицы, с жадно зияющими ноздрями; он шарил по лицу пронзительным взглядом, выискивая детали, следы, которые выявили бы обман, выдали бы руку шарлатана… Что-то жесткое, неумолимое шевельнулось в его сердце. Алфиера закрыла лицо руками.

— О, пожалуйста, не смотрите на меня так…

— Успокойтесь. Вы все же должны понять, что

в сложившейся ситуации…

С… не сразу удалось получить развод. Причина, на которую он вначале сослался, произвела в газетах сенсацию — подлог и использование заведомо подложного документа. Все это возмутило суд, в первой инстанции в иске ему отказали, и только ценою тайного соглашения с семьей Алфиеры — точную цифру так никогда и не узнали — он смог удовлетворить свою потребность в подлинности. Сейчас он живет достаточно уединенно и целиком посвящает себя своей коллекции, которая постоянно растет. Только что он приобрел «Голубую Мадонну» Рафаэля на аукционе в Базеле.

Радости природы

Шел снег, ветер швырял хлопья прямо в глаза, залеплял веки: доктор не без труда нашел крытую фуру. Цирк готовился вновь пуститься в путь, и хотя представление только-только закончилось, работники манежа и наездники-казаки уже тянули вниз канаты огромного шатра, в то время как внутри еще раздавались аплодисменты и гремели последние аккорды оркестра. Акробат в костюме эквилибриста, набросив на плечи плащ, шлепал по лужам растаявшего снега, клоун, сидевший за рулем «фольксвагена», снимал свой фальшивый нос и парик, а укротитель в полной парадной форме красного цвета, вся грудь в орденах, бегал туда-сюда с раскрытым зонтом в руке и кричал: «Цезарь! Цезарь!» — отчего у доктора возникло странное ощущение, что укротитель потерял в темноте одного из своих львов. Фура находилась немного в стороне, под деревом; на двери висела визитная карточка: «Игнац Малер, драматический актер». Доктор поднялся по трем ступенькам и постучал.

— Войдите! — раздался простуженный голос.

Доктор толкнул дверь. Фура была уютно об-

ставлена: диван, кресло, стол с вазой для цветов и двумя красными рыбками в банке, ситцевые занавески с узором, изображавшим сцены античности. На ночном столике стояла зажженная лампа, а на диване, среди подушек, лежал человек в алой пижаме и такого же цвета домашнем халате, в желтых шлепанцах и с толстой сигарой в зубах. Он был лилипутом.

Мертвенно-бледное, сморщенное лицо человека без определенного возраста, кукольное и вместе с тем потрепанное. Лилипут слегка наклонил голову в знак приветствия, пожевал свою потухшую сигару и посмотрел прямо перед собой — зло и как бы отрешенно: доктор, проследив за его взглядом, с трудом удержался, чтобы не выразить изумления и сохранить тот спокойный и чопорный вид, которого ждут от человека его профессии. Странное существо сидело на полу возле пылающей печи, прислонившись спиной к стенке фуры: голова этого человека, казалось, подпирала потолок, словно голова атланта. Это был великан. Доктор определил, что от ягодиц до корней волос в нем было не менее двух метров, волосы были ярко-рыжие, что же касается длины согнутых ног, колени которых доходили этому созданию почти до подбородка, о них лучше

было не думать. На великане был фиолетовый фрак с шелковыми лацканами; цилиндр, тоже фиолетовый, лежал у его ног, чтобы подчеркнуть его чудовищный рост в глазах восхищенной публики. Шерстяной платок окутывал ему шею, рот лошадиной подковой расщеплял лицо от уха до уха; из-под густых бровей Пьеро смотрели огромные ласковые глаза с необычайно длинными ресницами; гигант деликатно прижимал платок к носу — судя по всему, его мучил сильный насморк. Он громко чихнул, спазматически подскочив и коснувшись потолка головой, что привело лежавшего на диване лилипута в состояние крайнего возбуждения.

— Осторожнее, несчастный! — вскричал он. — Вы меня разорите! Конечно, вы застрахованы, но, если будете делать глупости, платить они откажутся! Лилипут обернулся к доктору. — У этих великанов крайне слабые головы, объяснил он. — Совсем как у жирафов. Этот отличается особенно хрупким здоровьем. Я хочу, чтобы вы осмотрели его, доктор. Я боюсь пневмонии… Обладатель алой пижамы высморкался. — Кстати, он заразил меня насморком: этот горемыка, этот мартовский кот где только не шляется по вечерам, а с такой погодой, как сейчас… Эти чудовища

действительно большая редкость, замена практически невозможна. Я хочу, чтобы вы и меня тоже осмотрели, доктор. Как-то неважно я себя чувствую, совсем неважно…

— Ну что же, — сказал доктор, — поскольку вы уже лежите, начнем с вас, если не возражаете…

— Позвольте, я вначале представлюсь, — сказал больной. — Игнац Малер, драматический актер, к вашим услугам. Что со мной, не имею ни малейшего представления. Уже несколько дней как весь мой организм совершенно расстроился. Я так больше не могу — нет, правда, не могу больше…

— Сейчас посмотрим, — добродушно произнес доктор.

Пока он осматривал пациента, он пришел к выводу, что в том было сантиметров восемьдесят-восемьдесят пять в длину, от макушки до пяток. За исключением сего факта, пациент обладал превосходным здоровьем и был вполне нормально сложен. Пустяковый насморк и ничего больше, нет даже легкой простуды. Доктор мерил артериальное давление — также нормальное, — когда великан, несколько раз тяжело вздохнув, жалобно, с сильным итальянским акцентом произнес:

— Если позволите, Игнац, я выйду на минутку, чтобы размять ноги…

— Категорически это запрещаю, — вскипел герр Малер. — Вы стоили мне сумасшедших денег: одна только страховка меня разоряет, не говоря уж о расходах на содержание…

— Я вам крайне признателен за все, что вы для меня сделали, — сказал великан с легким тремоло в голосе.

— Ну что ж, тогда успокойтесь, и хватит играть в Ромео с этой, этой… Да ладно, ладно, конечно, я в курсе. Весь цирк об этом говорит. Эти природные феномены, — сказал он, обращаясь к доктору, — требуют неслыханной заботы. Двух я уже потерял. Последний, между прочим, ушел с моей женой. Не спрашивайте меня, чем они могут заниматься вместе, ибо, в довершение всего, они развратны, как ужи… Сейчас они выступают со своим номером в цирке «Кнее» в Швейцарии — возмутительное соперничество, пощечина общественному мнению, впрочем, номер совершенно отвратительный…

— Я здесь ни при чем, — сокрушенно промолвил великан. — Я даже не был знаком с моим предшественником.

— Все — мошенники, — заявил герр Малер, — тронутые… Моя жена, доктор, была ровно восемьдесят пять сантиметров — ну вы представляете…

Люди внушают мне отвращение, доктор, они мне отвратительны. Они глубоко порочны. Какое удовольствие могут они испытывать, видя, как лилипут и великан вместе выставляют себя напоказ, хотел бы я знать. И однако же они хотят именно этого. Ничто их так не развлекает. Но на жизнь зарабатывать надо. Результат: я вынужден повсюду таскать за собой эту жердь и дрожать при мысли, что с ним может что-нибудь случиться, и тогда это в очередной раз погубит мой номер и доведет меня до нищеты. Если бы еще у них была хоть какая-нибудь профессиональная совесть… Но нет, они считают, им все можно. Посмотрите на этого красавца, знаете, как он схватил насморк? Знаете, почему он хочет выйти на этот холод, не боясь разорить меня?

— Прошу вас, Игнац, не надо, — взмолился великан.

— Он влюблен! Да, доктор, каким бы комичным это вам ни казалось, он влюблен! Ах! Ах! Ах! Мой бедный друг, на что же вы надеетесь? Да вы хоть знаете, на кого вы похожи? Вы более чем чудовище — вы просто смешны! В вас нет абсолютно ничего человеческого.

— Я люблю ее, — произнес великан.

— Вы слышали, доктор? Вы слышали, что он

сказал? Он признался. Он хочет меня бросить, вот она, правда. После всего, что я для него сделал, — заметьте, я не говорю о дружбе. Я никогда и ни у кого этого не требовал…

— Я очень уважаю вас как друга, Игнац, правда, — заверил его великан.

— Мне это вовсе не нужно. Единственное, что я хочу, это не дать вам совершить глупость. Думаете, она любит вас за ваши красивые глаза? Она хочет получить вас задаром, вот чего она хочет. Это идея ее отца: с тех пор, как умер их удав, их номер и яйца выеденного не стоит. Они рассчитывают, что вы замените им удава, и отец — человек крайне безнравственный, алкоголик — бросил вам под ноги свою дочь, чтобы вы заняли место в его зверинце рядом с дрессированным медведем и обезьяной-велосипедисткой. Вот почему она, несчастный кретин, пытается обольстить вас. Но я затаскаю их по судам, я их разорю: у меня контракт, составленный по всем правилам, я не дам обвести себя вокруг пальца. Люди внушают мне отвращение, доктор, величайшее отвращение. Они просто чудовищны. Чудовищны, именно так. Впрочем, если вы действительно хотите знать мое мнение, они еще не существуют: их следовало бы изобрести. Люди, доктор, ах! Ах! Не

смешите! Хотел бы я на них посмотреть: может, когда-нибудь, благодаря прогрессу медицины, таковые и появятся, но пока что все, что я вижу, доктор, это не люди, уроды, да, доктор, именно так: моральные и интеллектуальные уроды, у меня нет другого слова. Стоит только послушать, как они смеются, когда мой партнер берет меня на руки и дает мне соску, — они вульгарны, доктор, звероподобны и жестоки, ничто не заставит меня думать иначе. Так что у меня?

— У вас превосходное здоровье, — сказал доктор.

— Послушайте, что-то все же должно быть, иначе быть не может!

— Легкий насморк, — несколько смутился доктор.

Герр Малер вздохнул:

— Мои родители уже были такими, и мои дедушка с бабушкой тоже. Все дело в наследственности. Есть ли что-нибудь новенькое в этой области, доктор, с научной точки зрения, я имею в виду? Прививка или что-нибудь в этом роде? Говорят, это связано с железами внутренней секреции.

— Железы, все дело в них! — нравоучительно изрек великан.

— Что вы можете об этом знать? — возмутился лилипут. — Вы не прочли за свою жизнь ни одной книги. Совершенно необразован. Чем они выше, тем глупее. Да отойдите же вы от печки, несчастный! Вы же знаете, что не выносите резкой смены температуры! Меня очень беспокоит его кровообращение, доктор: по-моему, его сердце бьется слишком медленно, он устает от малейшего усилия, и ему совсем не подходит этот климат. Первый великан, который у меня был, — югослав, я нашел его в Черногории перед войной — падал в обморок всякий раз, когда имел половые сношения, а вы знаете женщин… само любопытство! Вдобавок ко всему законы крайне несовершенны: для них ничего не предусмотрено, их считают обычными людьми, пользующимися всеми правами. Вот, например, если этот вздумает бросить меня…

— Вы прекрасно знаете, что я не собираюсь никого бросать, — возразил великан. — Я к вам очень привязан. Я вам очень признателен за все, что вы для меня сделали.

— Я преследую свои интересы, и только. Если вы считаете, что вас легко заменить…

— Я совершенно не представляю, что бы я без вас делал, — заявил великан. — До встречи с вами

я был никто. Вы изменили мою жизнь. Вы дали мне возможность повидать свет…

— Осмотрите его, доктор. Его каждый вечер бросает в жар. Меня беспокоят его испражнения: они совершенно бесцветны. Он мочится каждые десять минут. Что-то тут не так. Он необычайно эмоционален. Разумеется, я его застраховал, но, признаюсь, я к нему очень привык. Мы не первый день вместе. Не стану скрывать: я боюсь. Представьте, что он умрет, доктор, тогда конец моему номеру! И чисто по-человечески я должен все-таки о нем позаботиться. В его состоянии… Ах, чего только не выдумает природа!

— Я глубоко тронут тем, что вы только что сказали, — заверил великан с пафосом. — Вы можете на меня рассчитывать. Я выдержу, мне только двадцать три года. Обычно великаны дотягивают до тридцати, иногда даже больше. Это зависит от роста и условий жизни. Обещаю вам, что сделаю все возможное.

— Тогда ведите себя спокойно. Прекратите играть в Ромео.

Доктор чувствовал себя немного не в своей тарелке. Ему вдруг показалось, что он сам то ли слишком высокий, то ли слишком маленький и что есть даже какая-то патология уже в одном

том, что ты человек. Он тщательно прослушал великана: сильный насморк, больше ничего.

— Сильный насморк, — сказал он, — больше ничего.

Герр Малер вынул сигару изо рта и принялся хохотать.

— Ха! Ха! Ха! Сильный насморк, больше ничего! Вы слышите, Себастьян? Вот от чего мы, оказывается, страдаем, вы и я, от насморка! Все остальное просто чудесно! Ха! Ха! Ха!

Великан тоже расхохотался. Фура задрожала. Доктор убрал свой стетоскоп.

— Я все же хочу, чтобы ему сделали рентген, — заявил герр Малер, когда немного успокоился. — Может, найдут что-нибудь. По-вашему, в легких у него ничего нет? Вы знаете, они очень быстро портятся. Моего югослава убил обычный фурункул на ягодице, когда ему не было еще и двадцати. Говорят, что подонок, который уехал с моей женой, — француз, между прочим, — болен чахоткой. Прошу вас, осмотрите его получше. Его может прихватить где угодно. Во всяком случае, в одном для них фатальный исход неизбежен: это когда они влюбляются. Эмоции убивают их тут же. Это общеизвестная истина, не правда ли, доктор? Скажите ему.

— Уверяю вас, Игнац, я испытываю к этой девушке самые благородные чувства.

— Ха! Ха! Ха! Вы все одинаковы. Ваш предшественник говорил то же самое о моей жене. Они вместе уехали, и сейчас он болен чахоткой. Впрочем, он ее не похитил. Хотелось бы все же знать, как это у них получается. Моя жена восемьдесят пять сантиметров — и этот бандит — под три метра ростом: он без костылей и ходить-то не мог. Что угодно отдам, только бы узнать, как это у них получается, — обычное профессиональное любопытство, клянусь…

Дверь отворилась, и в фуру вошла девочка лет двенадцати. Она была в берете, а ее очень светлые волосы прядями спадали на приподнятый воротник пальто. Она закрыла за собой дверь и бросила строгий взгляд на лилипута, который тотчас привстал на своем ложе. Девочка отвернулась от него и подошла к великану. Тот густо покраснел, и капли пота выступили у него на лице. Герр Малер скрестил руки на груди, прикусил сигару и язвительно хохотнул.

— Вот-вот, — воскликнул он, — будьте как дома, не стесняйтесь!

Девочка не обращала на него никакого внимания. Она подняла глаза к лицу великана. Тот

улыбнулся, и это была такая робкая и детская улыбка, что сердце у доктора сжалось.

— Ты не пришел, как обещал, Себастьян, — сказала девочка.

— Она хочет его смерти! — завопил лилипут.

— Я немного простужен, мадемуазель Ева, — прошептал великан.

— Вчера вечером они два часа провели на улице, держась за руки и любуясь луной! — вскричал герр Малер. — Об этом судачит весь цирк! Он не надел даже пальто! Она разорит меня!

— Я дала ему шерстяное одеяло, — сказала девочка. — Кстати, было вовсе не холодно.

— Мне хорошо известна цель ваших интриг, — воскликнул герр Малер. — За всем этим стоит твой отец! Вы потеряли удава, дрессированных собак вам уже недостаточно, вот вы и хотите заполучить великана для своего зверинца. Я не допущу, чтобы меня обокрали. У нас с ним контракт. Я сообщу в полицию. Я затаскаю вас по судам, вот увидите!

— Себастьян волен делать все, что ему нравится, — сказала девочка. Правда, Себастьян?

— Совершенно верно, мадемуазель Ева, — сказал великан. — Я совершенно свободен делать то, что мне нравится.

Девочка мечтательно посмотрела на него снизу вверх своими голубыми глазами.

— Ты прекрасен, Себастьян, — произнесла она важно. — Знаешь, я люблю тебя.

Великан улыбнулся и опустил ресницы. Девочка положила свою миниатюрную ручку на его огромную лапищу.

— Посмотрите на них, — взвыл герр Малер. — Никакого стыда! Она приходит сюда, чтобы подстрекать его к дезертирству! Какие люди, доктор, какие ужасные люди! Да сделайте же что-нибудь, объясните ему, она же его убьет!

— Себастьян не боится, — сказала девочка. — И вы не имеете права обращаться с ним как с вещью.

— Я трачу по пятьдесят марок в день на одни только витамины для него, вскричал герр Малер. — У вас нет средств, вы не сможете его содержать, говорю вам. Вы знаете, сколько он потребляет за один день? Пять кило мяса, и это только что касается протеинов!

— Не хлебом единым жив человек, — заявил вдруг Себастьян.

— Доктор, объясните же этой потаскушке, что это существо неспособно выдержать и малейшего волнения, пусть она оставит его в покое.

— Извините меня, — сказал доктор, — но это немного выходит за рамки моей компетенции.

— Конечно, — кивнул герр Малер, — и потому я просил также и ветеринаров осмотреть его. За ним нужен специальный уход: он не протянет и двух недель, если бросит меня.

— Я вовсе не собираюсь вас бросать, Игнац, — сказал Себастьян. — Но вы не можете запретить мне видеться с друзьями.

— Пора бы уже вам понять, герр Малер, — сказала девочка, — что Себастьян — человек.

— Человек! — воскликнул герр Малер. — Вы слышите, доктор? А я, разве я не человек? Доктор…

— Извините меня, — сказал доктор, — но мне действительно нужно идти. Я выпишу вам рецепт.

Девушка с восхищением смотрела в лицо гиганту. Себастьян опустил глаза. Его нескончаемо длинное лицо с выдающимся вперед и вверх подбородком и бровями Пьеро излучало счастье. Доктор не удержался и украдкой взглянул на хрупкую ручонку, лежавшую на огромной ладони. Себастьян застенчиво водил пальцем по краешку своего фиолетового цилиндра.

— Тебе следует пойти со мной, — сказала ма-

лышка. — Папа хотел бы с тобой поговорить.

— Я пойду с удовольствием, — ответил великан.

Он наклонился вперед, буквально согнулся пополам и, вытянув руку, взялся за ручку двери. Герр Малер с ужасом наблюдал за ним.

— Я вам категорически запрещаю это делать! — закричал он. — Вы заработаете пневмонию! Если вы высунете нос наружу, я больше ни за что не отвечаю!

— Он тиран, — заявила девочка. — Не слушай его, Себастьян. Ты имеешь право жить как все.

— Как все! — вскричал герр Малер с отчаянием в голосе, поднимая глаза к небу.

Великан выбрался из фуры. Ему удалось уже выставить одну ногу наружу, и он пытался вытащить другую, ничего не опрокинув. Девочка последовала за ним, держа в руке его цилиндр. Перед тем как выйти, она бросила торжествующий взгляд на лилипута.

— Можете не беспокоиться, я хорошо о нем позабочусь, — сказала она. Папа передает вам привет. Она вышла и закрыла за собой дверь.

— Это несправедливо, омерзительно! — возопил герр Малер. — Бывают минуты, когда мне стыдно быть человеком…

Доктор тем временем выписывал рецепт на детский аспирин.

Гражданин голубь

В 1932 году я оказался в Москве вместе с моим компаньоном Ракюссеном. Мы только что понесли гибельные потери на нью-йоркской бирже — все с таким трудом накопленное нами в течение целой жизни было сведено на нет за каких-то двадцать четыре часа, и врачи предписали нам полную перемену обстановки, несколько месяцев простой и спокойной жизни вдали от Уолл-стрит с ее лихорадкой. Мы решили отправиться в СССР. Я хочу уточнить здесь один важный момент: мы принимали это решение с той искренней восторженностью, с той горячей симпатией к достижениям в СССР, понять которую по-настоящему способны лишь биржевые маклеры, дочиста разорившиеся на рынке ценных бумаг на Уолл-стрит. Как в прямом, так и в переносном смысле мы нуждались в новых ценностях…

Стоял январь. Москва была одета в свой снежный наряд. Мы только что посетили Музей Революции и, выйдя из него, решили на санях вернуться прямо в отель «Метрополь», где мы остановились на постой. Наше путешествие в СССР осуществлялось под покровительством «Ин-

туриста», и две недели гид безжалостно таскал нас из музея в музей и из театра в театр.

— Все это уже давно есть и у нас в Соединенных Штатах, — сказал Ракюссен, спускаясь по лестнице.

Всякий раз, когда гид показывал нам какую-либо достопримечательность, Ракюссен считал своим долгом заметить: «То же самое есть у нас в Соединенных Штатах» — и, как правило, добавлял: «Только лучше». Он говорил это в Кремле, в Музее Революции, а также в Мавзолее Ленина, и гид стал в конце концов поглядывать на нас недружелюбно: если говорить честно, я думаю, эти действительно неуместные замечания Ракюссена имели некоторое отношение к тому, что с нами случилось впоследствии. Начинал идти снег, и мы пританцовывали, делая выразительные знаки всем проезжавшим мимо саням. Наконец один izvoztchik остановился, и мы удобно устроились. Ракюссен крикнул: «Отель „Метрополь“!» — сани заскользили, и только тогда я заметил, что кучера на месте нет.

— Ракюссен, — крикнул я, — кучера потеряли!

Но Ракюссен не ответил. Его лицо выражало запредельное изумление. Я проследил за его взглядом и увидел, что на месте кучера сидит

голубь. В самом этом факте не было ничего необычного — на улицах полно голубей, копошащихся в лошадином навозе; поражало другое — поведение голубя. Судя по всему, он заменял кучера. Правда, вожжи он не держал, однако сбоку от него к сиденью был прикреплен колокольчик с веревочкой. Время от времени голубь хватал веревочку клювом и дергал: один раз — и лошадь поворачивала налево, два — и она поворачивала направо.

— Он замечательно выдрессировал свою лошадь, — заметил я хрипловатым голосом.

Ракюссен испепелил меня взглядом, но ничего не сказал. Впрочем, сказать ему было нечего; я столько всего повидал за свою жизнь, на моих глазах всемирно известная компания «Марс Ойл» разорилась в пух и прах за двадцать четыре часа, но голубь, которому разрешили управлять общественным транспортом на улицах большой европейской столицы, — это был беспрецедентный случай в моей практике американского бизнесмена.

— Ага, — сделал я попытку пошутить, — вот наконец нечто, чего еще нет у нас в Соединенных Штатах!

Но Ракюссен не настроен был рассуждать о

достижениях великой Советской Республики в области общественного транспорта. Как это часто бывает с примитивными умами, всё, чего он не понимал, выводило его из себя.

— Я хочу сойти! — взревел он.

Я посмотрел на голубя. Он подпрыгивал на своем сиденье, хлопая крыльями, чтобы согреться, как делают все русские izvoztchik. Для пионера социализма он выглядел слабовато. Честно говоря, мне редко доводилось видеть до такой степени безразличного к своей персоне голубя, более чумазого и менее достойного возить двух американских туристов по улицам столицы.

— Я хочу сойти, — повторил Ракюссен.

Голубь враждебно посмотрел на него, просеменил до колокольчика и дернул три раза за веревочку. Лошадь остановилась. Я начал ощущать нервную дрожь в левом колене, что является у меня признаком большого внутреннего беспокойства. Я приподнял плед и приготовился сойти, но Ракюссен, по-видимому, неожиданно передумал.

— Я хочу разобраться с этим делом, — заявил он, скрещивая руки на груди и не трогаясь с места. — Я не желаю становиться жертвой мистификации. Они заблуждаются, если полагают, что

могут таким образом оскорблять американского гражданина!

Я не понимал, почему он чувствует себя оскорбленным, и сказал ему это. Мы обменивались нелицеприятными репликами, когда я заметил, что на тротуаре образовалась толпа: прохожие останавливались и с удивлением нас разглядывали.

— На голубя они даже не смотрят, — подавленно сказал Ракюссен. — Они смотрят на нас.

— Ракюссен, дружище, — сказал я, кладя ему руку на плечо, — давай не будем вести себя как напуганные провинциалы! В конце концов, мы чужие в этой стране. Эти люди должны лучше знать, что у них нормально, а что — нет. Не надо забывать, что эта страна пережила великую революцию. Нас всегда очень плохо информировали о СССР. Они тут строят поистине новый мир. Вполне возможно, что с помощью новых методов они достигли в области воспитания голубей таких успехов, о которых мы в наших странах, увязших в вековой рутине, даже и не мечтаем. Предположим, что наш голубь — пионер, и оставим это… Давай смотреть шире, Ракюссен, поднимемся над обстоятельствами; немного терпимости, Ракюссен, немного благородства. Почему бы не

согласиться с тем, что в плане рационального использования рабочей силы нам в Соединенных Штатах предстоит еще многому научиться?

— Рациональное использование рабочей силы, как бы не так, — резко бросил Ракюссен.

Но я не позволил выбить себя из седла.

— Izvoztchik, — крикнул я со своим лучшим русским акцентом, izvoztchik, вперед! Дерни за kolokoltchik! Ai da troika! Volga, Volga!

— Замолчите, — прошипел Ракюссен, — или я сверну вам шею!

Вдруг он заплакал.

— Я уничтожен! — рыдал он у меня на груди. — О! Какой стыд! Где моя мама? Я хочу к маме!

— Здесь я, Ракюссен, дружище, — воскликнул я. — Вы можете полностью; на меня положиться!

В течение всего этого времени зеваки на тротуаре смотрели на нас с неослабевающим вниманием. Первым устал от спектакля голубь. Он резко дернул колокольчик, лошадь тронулась, сани легко заскользили по снегу. Голубь то и дело оборачивался и бросал на нас ничего хорошего не сулящий взгляд. Ракюссен продолжал всхлипывать, и я начинал ощущать то странное чувство, которое у меня не предвещает ничего хорошего, как будто мой череп сжимают какие-то тиски.

Сани остановились перед зданием, над которым развевался советский флаг. Голубь спрыгнул с сиденья, забежал внутрь и тут же вернулся в сопровождении полицейского.

— Товарищ, — воскликнул я, — мы целиком переходим под вашу защиту. Мы двое — мирные американские туристы, и с нами только что обошлись крайне недостойным образом. Этот izvoztchik…

— Почему этот мерзкий голубь привез нас в участок? — перебил меня Ракюссен. Полицейский пожал плечами.

— Вы находились в его санях целый час, но так толком и не объяснили, куда вас нужно отвезти, — объяснил он нам на чистейшем английском. — К тому же ваше поведение показалось ему странным, и он даже утверждает, что вы смотрели на него угрожающе. Вы напугали его, товарищи. Этот izvoztchik не привык к туристам и их чудаческим манерам. Его можно понять.

— И он вам объяснил все это? — мрачно спросил Ракюссен.

— Да.

— Значит, он говорит по-русски? Полицейский был искренне удивлен.

— Товарищи туристы, — сказал он, — я могу вас

заверить, что девяносто пять процентов нашего населения говорит и пишет на своем родном языке.

— Включая и голубей?

— Товарищи туристы, — сказал полицейский с некоторым пафосом, — мне не довелось бывать в Соединенных Штатах, но я могу вас заверить, что у нас к образованию имеют доступ все, независимо от расы.

— У нас в Соединенных Штатах, — взвыл Ракюссен, — есть голуби с дипломом Гарварда, и я лично знаю двенадцать штук, которые заседают в Сенате!

Он спрыгнул на тротуар. Я последовал за ним. Голубь продолжал стоять там же, вместе со своими санями, ожидая, по-видимому, когда с ним расплатятся. Я посмотрел на него, и вот тогда-то меня и посетила эта роковая мысль. Там, как раз неподалеку от участка, находился филиал «Универмага». Я забежал внутрь и победоносно вышел с двумя бутылками водки.

— Ракюссен, дружище, — крикнул я, осуждающе указав пальцем на голубя, я нашел ключ к разгадке тайны. Эта птица не существует! Это галлюцинация, плод чрезмерной трезвости, на которую обрекли нас наши недруги, наши отрав-

ленные организмы не способны перенести этот режим! Выпьем! И этот голубь растворится в пространстве как дурной сон.

— Выпьем! — обрадованно взревел Ракюссен. Голубь демонстративно повернулся к нам спиной.

— Ага! — крикнул я. — Он уже потерял свою четкость. Он знает, что его минуты сочтены.

Мы выпили. Бутылка была опустошена на четверть, но голубь продолжал упорно существовать.

— Пьем дальше, — крикнул я. — Мужайся, Ракюссен, мы ощиплем его до последнего перышка!

Когда бутылка была опустошена на треть, голубь повернулся и пристально взглянул на нас. Я понял этот взгляд.

— Нет-нет! — проговорил я заплетающимся языком. — Никакой жалости!

На половине бутылки голубь вздохнул, а на трех четвертях — сказал по-американски с ярко выраженным акцентом жителя Бронкса:

— Товарищи туристы, вы находитесь в иностранном государстве, два представителя великой и прекрасной страны, и вместо того, чтобы своей корректностью и благовоспитанностью

создать у нас высокое мнение о своей отчизне, вы хлещете водку прямо на улице и уже напились как свиньи. Это, граждане, просто омерзительно!

…Я пишу эти строки у себя в клубе. Около двадцати лет прошло со времени этого ужасного приключения, которое явилось для нас началом новой жизни. Ракюссен сидит на люстре, рядом со мной, и по своему обыкновению мешает мне работать. Нянечка, няня, вы не могли бы сказать этой проклятой птице, чтобы она оставила мои крылья в покое. Я пишу.

Страница истории

Огарок свечи в предсмертном хрипе осел набок. Пламя тут же потонуло в жирной лужице, обратившись в черную кляксу. И тут в камеру стал медленно проникать свет. Он струился через квадраты стекол, стекал вдоль стен, собирался клубками по углам. Свет смотрел и выжидал. Звонар улыбнулся ему, и свет ему ответил, робко, чуть заметно порозовев.

На плече у Звонара храпел македонец: чтобы согреться, они спали, тесно прижавшись друг к другу. В помещении стало светлее, и на стенах проступили нацарапанные послания — Звонар перечитывал их каждое утро, просто так, чтобы разогнать кровь. *Приветствую тебя, Человек, вечный покоритель себя самого!* — Здравко Андрич, студент-филолог Белградского университета. *Человек — лишь предчувствие себя самого, наступит день, и он заявит о себе.* — Павел Павлович, студент юридического факультета, Сараево. А потом еще гордая цитата из француза Анри Мишо на ту же тему: *Тот, кто споткнулся на камне, шел уже двести тысяч лет, когда до него долетели крики ненависти и презрения, которыми хотели*

этого человека напугать. Впрочем, уже другая рука нацарапала чуть ниже: Югославские патриоты, которые написали здесь эти высокие слова, были расстреляны немцами сегодня утром.

Фашисты, однако, способствуют духовному подъему, думал Звонар. Они просто слишком далеко просунули факел, вот и все. Они лишь продолжили то, что начали наши великие первопроходцы. И сам, в качестве заключения, добавил к надписям на стене еще одну строчку: *История человека — весьма грязное дело, в котором ни у кого нет алиби.* Не написать он не мог, это было выше его сил: есть такие стенки, на которые тут же хочется нассать. Прежде чем присоединиться к партизанам Тито, Звонар работал журналистом в Белграде, у него были жена и трое детей, и ему уже надоело полтора месяца дожидаться своего последнего утра, когда нет даже детектива, чтобы убить время.

Македонец, который лежал у него на плече, вдруг застонал, как раненый зверь. Наверное, опять что-нибудь увидел во сне, подумал Звонар. Он схватил его за руку и резко дернул. Тот от неожиданности открыл глаза.

— Она снова приходила показывать мне язык, — пробормотал он. — Вот так… — Македо-

нец высунул длинный воспаленный язык.

Заросший волосами, с непокорной копной на голове и торчащей бородой, человек этот был похож на какое-то мифологическое существо с бычьей шеей и громадными руками, которое почему-то оказалось в реальной жизни. «Политическим» он не был, просто убил какую-то старуху, и вовсе не по идейным соображениям, а чтобы ограбить. Одним словом, он был совершенно чист перед законом.

— Странно, что она все время показывает тебе язык…

— Ничего странного, ведь я ее задушил.

— Ах вот как, — произнес Звонар и зевнул. — Когда она тебе покажет свой зад, это будет означать, что она тебя простила. — Он взглянул на дверь — ему показалось, что в коридоре кто-то ходит. Наверное, нервы, подумал он и предложил: — Сыграем?

Великан осклабился: он чувствовал себя непобедимым. С тех пор как они оказались тут, Звонару ни разу не удалось его обойти. У него, наверное, температура тела выше, чем у меня, подумал Звонар. Игра была стара как мир: надо было сосчитать собственных блох, и побеждал тот, у кого их оказывалось больше.

Пальцы сокамерников тут же начали перебирать волосы, ощупывать складки одежды.

— Пять, — мгновенно возвестил македонец, открыв счет. Он скреб себя со знанием дела, и результат тут же был достигнут: — Еще три и две. Выходит десять. Теперь ты…

Он доверчиво замер. Звонар тщательно ощупывал себя — ни одной. Он стянул с себя рубаху, внимательно осмотрел ее — безрезультатно.

— Они сгинули, — сказал он. Македонец испуганно настаивал:

— Ищи хорошенько…

Звонар послушался — ни одной. А ведь чесался он всю ночь напролет. Мужчины переглянулись и македонец опустил глаза.

— Ну что ж, — проговорил Звонар, — понятно. — Значит, сегодня.

— Не надо быть суеверным, — неуверенно возразил македонец.

Звонар вытащил из кармана письмо, которое приготовил уже полтора месяца назад, и протянул его своему соседу.

— Это — жене. Не забудь.

— Может, они вернутся?

— Не понимаю, — произнес Звонар, — как им становится заранее известно? У них, наверное,

свои предчувствия. Какое-нибудь шестое чувство… Следовало бы когда-нибудь все про это разузнать…

— Они научились, — принялся объяснять македонец. — Они тут не первый день, всего навидались… Блохи вдруг исчезают, это всем известно.

— Народная мудрость, наверное, — усмехнулся Звонар.

— Но бывает, они ошибаются, — попытался исправить положение македонец. Кто угодно может ошибиться.

В коридоре раздались шаги. Заскрежетал в замке ключ. Вошли два охранника, за ними младший офицер СС и священник с массивным серебряным крестом на груди. У офицера в руке был список.

— Звонар, журналист?

— Я.

Глаза у македонца испуганно забегали. Он перекрестился, пробормотал: «Господи помилуй!»

Звонар тоже находился под впечатлением: неплохо все-таки покидать грешную землю с уверенностью, что на ней еще есть нераскрытые тайны. Если блохам известно будущее, если существует некая таинственная, могущественная сила, которая предупреждает их и вовремя

спасает, можно еще надеяться на что угодно. У Звонара было впечатление, что он присутствует на некоем магическом действе, которое почти что может доказать или, во всяком случае, сделать более правдоподобным существование Господа Бога… Всю свою жизнь Звонар был атеистом, но существуют все-таки предзнаменования, которым можно верить, и такие очевидные вещи, с которыми нечего спорить. Сверхъестественное откровение, например, перед смертью. Он взглянул на священника и расхохотался.

— Я готов, — произнес он.

* * *

Наместник Сербии сидел за рабочим столом в огромном кабинете королевского замка в Белграде, а прямо перед ним, руки по швам и готовый исполнить любое приказание, стоял верный ординарец из Чехии, бравый солдат Швейк. Стол был весь заставлен бутылками пива «Пльзенское для знатоков» по пятьдесят пфеннигов за штуку. На ковре тоже валялись бутылки, но пустые. Было пять часов утра. Наместник Сербии с отвращением взирал на зарождающийся день: бледный свет побеждал тьму, жаждал солнца — несмотря на столь ранний час, у его ног вставал из праха

югославский день. Можно было подумать, что наступает он, чтобы вносить ходатайства, просьбы о помиловании, чтобы ныть, настаивать… Наместник Сербии пнул этот свет сапогом, но тот никуда не делся, а стал еще нахальнее — день начинался, в этом не было никаких сомнений. Именно так, а тут надо еще сидеть за этим чертовым столом, рыться в этих мерзких бумагах. Наместник Сербии был в ярости. Свет, пробивавшийся сквозь стекла его кабинета, напомнил ему, что он всю ночь пил и что его рапорт, этот пресловутый, имеющий первостатейную важность рапорт так и не написан.

— Читай, Швейк! — приказал он.

— Яволь! — гаркнул преданный бравый солдат Швейк. — «Имею честь привлечь внимание высоких властей… имею честь довести до вашего сведения…» — Он замолчал.

— Все?

— Яволь!

— Тогда пей!

Они выпили. Наместник Сербии был пьян, пьян в стельку. А дело было весьма тонкое и неслыханно запутанное. Оно не шло у него из головы, оно мучило его несчастный мозг, но никак не соглашалось найти для себя словесную форму.

— Швейк!

— Яволь!

— Сегодня утром снова должны казнить заложника… И кого они выбирают? Известного журналиста, автора опасных памфлетов, который, кроме всего прочего, привык к подрывной деятельности… И чем же, спрашивается, займется его душа, как только окажется на небесах?

— Яволь?

— Именно так! Она развернет против нас пропагандистскую кампанию! Начнет издавать газету. Будет публиковать против нас подстрекательские статейки, настоящие призывы к бунту, она науськает против нас все человеческие души, населяющие небеса, Швейк!

— Науськает, яволь! — удовлетворенно повторил бравый солдат Швейк.

— Его душа будет возводить на нас поклёпы, она будет распространять клевету, она мобилизует против нас неслыханные силы! Мы сошли с ума, Швейк, да, просто сошли с ума! Мы отправляем туда миллионы душ-врагов, мы их даже обеспечиваем транспортом! Мы организуем там пятую колонну из душ сильных, закаленных, упорных, которые зачастую располагают серьезной церковной поддержкой, и все они объединятся

против нас! Подъем масс! Единый фронт хорошо вооруженных, хорошо подготовленных и хорошо экипированных душ!

— Яволь!

— Пиши: «Имею честь напомнить вам, что казнь лишь высвобождает из каждого политического заключенного преимущественно революционный элемент, который представляет собой заклятого врага национал-социализма, то есть их душу… Ну так, и чем же начинают заниматься эти души, как только попадают на небеса? Они объединяются. Они солидаризируются. Они начинают выпускать газеты, они распространяют листовки, собираются на митинги, создают военные отряды, формируют против нас единый блок, нацеленный на политическую борьбу и поддерживаемый евреями и христианами, и блок этот мы сформировали своими собственными руками, и мы же его и множим…» Точка.

— Яволь!

— Тогда пей! Они выпили.

— «Имею честь спросить у высококомпетентных властей: хорошо ли организованы у нас там полицейские силы? Какие даны им указания и какова эффективность их работы? Благоприятно ли расположены к нам местные власти? Существуют

ли там концентрационные лагеря и тюрьмы для этих душ и достаточно ли там военного состава, чтобы поддерживать в них порядок? Позволю себе ответить: бэ-э-э!»

— Битте?

— Ничего не было сделано! Ничего не было предусмотрено! Ничего не было организовано. Ни-че-го. А ведь нам нужна поддержка там, на небесах. Надежная… И чтобы разбирались в обстановке… Потому что взойдем мы туда, когда наступит наш час, не во главе победоносных армий, не под защитой танков и самолетов, мы… Взойдем мы туда… одни! — Голос изменил наместнику. — Одни… — повторил он. — И я туда взойду… один!

— Один! — подобострастно отрапортовал бравый солдат Швейк. — Яволь!

Наместник Сербии осушил еще одну бутылку.

— Мы можем сколько угодно завоевывать Европу, владеть ею с одного конца до другого, мы можем быть победоносны, опасны, даже могучи, но все это зря: туда мы взойдем в одиночку… Все… даже самые великие из нас… Даже сам фюрер… чур меня… чур меня…

— Чур, яволь!

— Чур меня! Фюрер взойдет туда в одиночку!

— Чур!

— Чур! В тот день, когда он окажется там, нам не хватит всех наших тамошних друзей! Нам нужна будет поддержка… нам будет необходима протекция! — Наместник наклонился вперед и прошептал: — Итак, кого мы отправляем вперед, чтобы подготовить почву? Кого? Наших самых заклятых врагов — человеческие души! Души казненных, души умерших от голода, от отчаяния… Они все уже там. Они ждут нас. Солидаризируются. Множат ряды. Вооружаются. Готовятся… Они занимают все стратегические позиции… Они берут на изготовку… — Неожиданно он взвизгнул: — Каюк нам! Запиши это, Швейк!

— Яволь! — удовлетворенно произнес бравый солдат Швейк. — Каюк нам!

* * *

Михайлик открыл глаза. Взгляд его скользнул по противоположной стене, уперся в пол и застыл на крысе, которая как раз в этот момент пересекала камеру. Шла она неторопливо, с достоинством. Она даже остановилась на мгновение, бросив на Михайлика вызывающий, в некоторой мере оскорбительный взгляд. Михайлик наклонился, потянулся за ботинком.

— Оставь в покое эту крысу! — услышал он. — Мы здесь у нее в гостях!

Михайлик в изумлении выпрямился. На незанятых прежде нарах сидел незнакомец. Из приличных господ, немолодой, очень аккуратно одетый: на носу у него поблескивало пенсне, на шее — галстук-бабочка, белый воротничок. Пальто он не снял, а шляпу так и держал в руке. Михайлик почесал себе спину и бросил на новоприбывшего меланхолический взгляд.

— Прошу заметить, что я постарался как можно меньше шуметь этой ночью. Короче говоря, дорогой сударь, я проник в ваше убежище на носочках!

Голос незнакомца звучал уверенно, говорил он отчетливо, как человек, который привык, что его слушают. Михайлику стало не по себе.

— Кто вы? — спросил он с той суровостью, которой всегда стараются компенсировать собственную неуверенность.

— Кто я? — переспросил господин в пенсне. — Я — железнодорожный узел Молинек — Клиши! К вашим услугам.

Он приподнял шляпу. Тронутый, подумал Михайлик с некоторым осуждением. Он снова на всякий случай ухватился за свой ботинок.

— Я, судя по всему, персона весьма важная, — произнес железнодорожный узел без ложной скромности. — Когда я думаю обо всех поставках фронту, которые идут через меня в Италию… Известно ли вам, что только за последнюю неделю через меня проследовало пять немецких военных эшелонов с людьми и пушками? Осознание той важной роли, которую мне довелось играть в сражении за Европу, лишило меня сна. У меня прелестный вокзальчик у переезда, — мечтательно продолжал господин в пенсне, как будто говорил о чем-то очень личном. — Через Молинек — Клиши протекает речка. Одним концом я упираюсь в туннель, другим — в подвесной мост…

Во взгляде Михайлика зажегся профессиональный интерес.

— Пять эшелонов в день, — пробормотал он, — вас что, ни разу не взрывали?

— Четырежды, — гордо заявил железнодорожный узел, поправляя на носу пенсне. — Но работали любители. Я получил лишь незначительные повреждения. Небольшая задержка — и немецкие эшелоны снова начали двигаться в сторону фронта. Тогда я решил взять дело в собственные руки. Составил план. Достал материалы. За начальной фазой работ я следил лично…

Достославные власти протектората о чем-то пронюхали. Поскольку вы являетесь мэром Молинек — Клиши, вы поступаете в наше распоряжение в качестве заложника. За сей важнейший железнодорожный узел вы отвечаете собственной головой.

— Ну и…

— Ну и, к счастью, у меня есть сын, и он — на свободе. Он опытный инженер, его образование стоило мне немало… — Он взглянул на часы. Работа должна была быть закончена сегодня в три ночи… То есть ровно два часа назад. Итальянский фронт не дождется подкрепления… Мне же дожидаться, судя по всему, долго не придется!

В коридоре загрохотали сапоги… в замке повернулся ключ. Мужчина поднялся, поправил пенсне, надел шляпу.

— Железнодорожный узел Молинек — Клиши имеет честь проститься с вами, товарищ!

* * *

— Швейк!

— Яволь!

— Я все их вижу, эти души! Они всюду! Так и кишат! Карабкаются… Визжат… По-сербски… По-польски… По-французски… По-русски… На

идише! Смерть фашистам! Смерть палачам! Смерть бессердечным, безжалостным, безбожным! Смерть… — наместник упёр палец себе в грудь. — Смерть наместнику Сербии! Пусть нам отдадут его душу! Пусть бросят нам его душу! Мы заключим ее в вонючий карцер! Будем морить голодом, будем пытать. Мы сведем ее с ума… Швейк, ты где?

— Яволь?

— Я ведь еще не умер, а? Я все еще на земле? Еще ведь не началось? Или это… Швейк!

— Яволь! — гаркнул верный Швейк. — Вы еще не умерли, но это уже началось.

— Я слышу их, все эти души… Свобода! Равенство! Братство! Справедливость! Человечность! Они снуют повсюду, движение останавливается, службы порядка не могут справиться… Они карабкаются на уличные фонари, на общественные памятники… Право на жизнь! Право на мир! Право на мысль, право на слово, на крик! Право быть горбатым, косым, право быть негром, евреем, человеком! Право быть шатеном! Рыжим, зеленым, желтым, черным! Мы требуем для наших детей естественной смерти! Души кишат повсюду, вырывают из мостовой булыжники, они подожгли Дом культуры, они теснят поли-

цейские кордоны, перевернули трамваи… Душа, награжденная железным крестом, растоптана и брошена в сточную канаву. Все облака увешаны плакатами: «Свободные души, вперед!» и «Души, объединяйтесь, скажем „да“ единому фронту!». Швейк!

— Битте?

— Плохо мне, Швейк! Они заняли электростанцию и телеграф. Никто не может устоять против них. Папа выступил с приветственным посланием! Да где же национал-социалистические души, Швейк?

— Имею честь доложить: нет их! Яволь!

— Это конец! Они захватывают все на своем пути. Подтягиваются неожиданные резервы! Святой Петр вскарабкался на облако, речь произносит! Он бросает им ключи от рая! «Вход свободный без различия цвета кожи!» скандирует он. Его несут на руках. Толпа орет на манер болельщиков: «Бог с нами! С нами Бог!» Швейк, ты тоже думаешь, что Бог…?

— Яволь!

— Заткнись! До меня доносится грохот сапог… Души врагов порядка, кажется, в смятении… Они останавливаются. Что это за песня? Это «Хорст Вессель»! Наши наступают, Швейк! Это души

наших погибших солдат! Легионы душ борцов с большевиками. Они приближаются — гусиный шаг, плечо к плечу. Как они идут! Черт возьми, как они идут! Что за блеск! Искры во все стороны! Кинжалы, сапоги, портупеи… Однако… Однако где наши руководители, Швейк?

— Внизу, — холодно заметил бравый солдат Швейк.

Он с некоторой надеждой воззрился на хозяина.

Наместник Сербии сделал усилие, чтобы подняться.

— Нельзя терять ни минуты! — бормотал он, скидывая китель и начиная снимать подтяжки. — Их надо вести в бой, — икнул он. — Нашим героическим первопроходцам нужен руководитель… Швейк, помоги мне.

— С удовольствием, — рявкнул Швейк. — Яволь!

Он взобрался на стол. Затянул на подтяжках петлю и закрепил их на люстре, затем помог своему хозяину влезть на стол и преданно протянул ему руку помощи.

— Никаких колебаний, вперед! — бормотал наместник Сербии, пока верный Швейк просовывал его голову в петлю. — Надо быть мужественным…

Инициативным… Зиг хайль! Командование беру на себя!

Верный Швейк услужливо подтолкнул наместника. Тот подпрыгнул и повис на подтяжках. От толчка он немного протрезвел и начал дергаться. Бравый солдат Швейк равнодушно взирал на то, что происходит с его хозяином. Тело его, однако, продолжало раскачиваться, и от этого равномерного движения у ординарца начала кружиться голова. Швейк схватил наместника за ноги и солидно придержал его тело, пока оно не перестало дергаться. Потом он повернулся к нему спиной.

Стена

(Святочный рассказ)

В клубе мой друг доктор Рэй уселся передо мной в одно из тех старых клубных кресел, в которых достойно проводили время столько именитых англичан. Мы расположились в углу у огня, но не слишком близко, как раз так, чтобы было не слишком жарко, а приятно тепло.

— И что же? Ничего? — заботливо спросил меня доктор.

— Ничего, — ответил я, — вот уже две недели, как передо мной стена…

Я пришел встретиться со старым другом, чтобы он рассказал мне одну из тех чудесных историй, которые пробуждают энергию, внушают оптимизм и помогают собраться с мыслями. Приближался декабрь, и я обещал редактору большой молодежной газеты рождественскую сказку, одну их тех поучительных и красивых историй, которые моя юная публика уже привыкла ждать от меня к праздникам.

Обычно, когда подходит Рождество, я всегда нахожу милую и нежную историю, это выходит

у меня совершенно естественно, когда вечера такие длинные, а витрины магазинов светятся и полны игрушек, уныло объяснял я доктору, но на этот раз вдохновение меня, кажется, совсем покинуло… Передо мной стена…

— Ну что ж… — Доктор смотрел задумчиво. — Я как будто нашел для вас замечательный сюжет.

— Какой?

— …Стена… Я не хочу ничего предписывать вам как врач, тем более что здесь, в клубе, я не веду приема, если захотите какую-нибудь дурацкую пилюлю, прошу пожаловать ко мне в клинику, это будет вам стоить пять гиней, а сейчас я могу рассказать вам совершенно правдивую историю, действительно о стене — и в прямом, и в переносном смысле.

Это случилось в одну из тех ледяных ночей накануне дня святого Сильвестра, когда сердца людей сжимаются от невыносимой необходимости любви и дружбы, тепла и чуда. А произошло вот что.

Я начинал свою практику, был прикреплен к Скотленд-Ярду в качестве судебного врача, и нередко среди ночи меня поднимали с постели к какому-нибудь бедолаге, которого ничто уже не могло разбудить. Был желтый, тусклый

декабрьский рассвет — а лучше в Лондоне и не бывает, — меня позвали засвидетельствовать смерть в одном из страшных меблированных домов на Графском дворе — нет нужды вам описывать, как там все отвратительно и печально. Я присутствовал при освидетельствовании тела молодого студента, юноши лет двадцати, который накануне ночью повесился в одной из тех жалких комнатушек, где, чтобы включить отопление, нужно бросить шиллинг в щель газового автомата. В комнате было смертельно холодно, я сел за стол составлять свидетельство, и на глаза мне попалось несколько листов бумаги, исписанных нервным почерком. Я взглянул на них, потом стал читать с неожиданным вниманием. Несчастный молодой человек оставил нам подробные объяснения своего отчаянного поступка. Разумеется, он жестоко страдал от приступа острого одиночества. У него не было ни семьи, ни друзей, ни денег. Приближалось Рождество, и все его существо страстно желало нежности, любви, счастья и… и здесь история, собственно говоря, и завязывается. В соседней комнате жила молодая девушка, он с ней не был знаком, но встречал иногда на лестнице… И «ее ангельская красота» — вы узнаёте этот юношески пылкий стиль — по-

разила его в самое сердце. И вот, когда он боролся со своим отчаянием и тоской, он услышал за стеной, в комнате своей соседки некие звуки, какой-то шорох, скрип, стоны, которые он в своем последнем письме определил как «характерные», природу их нетрудно было угадать. Вероятно, эти шумы продолжались непрерывно, пока он писал, потому что славный мальчик рассказал о них во всех подробностях. Он как будто хотел освободиться от охватившего его бешенства и презрения — почерк выдавал очень возбужденное состояние. Для молодого англичанина его лет письмо, надо сказать, было довольно смелое. С безумной и безнадежной иронией он не упустил ни одной детали. Он писал, как в течение по крайней мере часа слышал стоны истинного сладострастия и как скрипела и ходила ходуном кровать… Вам не надо это подробно рассказывать. Все мы это когда-то испытали: звуки одиозных резвостей хоть раз звучали в ваших ушах в то время, когда вы приникали одним из них к стене. Похоже, сладострастные стоны «ангелоподобной» соседки больно уязвили его, особенно если принять во внимание, в каком он был состоянии — одиночество, уныние, общее неустройство… Он признался даже, что был тайно влюблен в

незнакомку. «Но она была так красива, что я и заговорить с ней не смел», — писал он. Он бросил несколько горьких проклятий (естественных для хорошо воспитанного англичанина его возраста) «этому неблагородному миру», который «терзает и разрывает» его сердце и в котором он больше «не хочет пребывать». Короче говоря, ясно было, что все это происходило в очень чувствительной и очень чистой душе, безумно одинокой, истерзанной жаждой любви и плененной таинственным «ангелом», заговорить с которым мешала застенчивость. И вот теперь он услышал через стену ее весьма земной голос. Он оторвал от занавески веревку и совершил непоправимое.

Я прочел все его листочки, подписал свидетельство и, перед тем как выйти, на минуту замер, прислушиваясь. Но за стеной все было тихо. Без сомнения, любовные игры кончились и сменились здоровым сном. Человеческая природа имеет все же свои пределы. Я спрятал вечное перо, взял свой докторский саквояж и стал спускаться по лестнице, сопровождаемый полицейским и домохозяйкой. Она еще не вполне проснулась и была в дурном расположении духа. И тогда у меня появилось — ну, как вам сказать? любопытство, что ли… Разумеется, я нашел себе тысячу

оправданий, *приличных и основательных*… В конце концов, эта юная дама и ее сладострастник были отделены лишь стеной, и, как мы знаем, довольно тонкой, от комнаты, где произошла драма, и после всего, что произошло, может быть, у них было, что нам сказать — может быть, какие-нибудь новые подробности… Хотя, не стану от вас скрывать, главным образом влекло меня все же любопытство — нездоровое или циничное, как вам угодно, — мне захотелось взглянуть на это «ангельское создание», чьи стоны и вскрики имели столь трагические последствия. Короче, я постучал в дверь. Никакого ответа. Без сомнения, подумал я, он все еще в ее объятиях. Я очень живо представил себе обезумевшую от страсти парочку под одеялом. Я пожал плечами и стал спускаться, но хозяйка, постучав два или три раза и покричав «Мисс Джонс! Мисс Джонс!» — взяла свою связку ключей и сама открыла. Я услышал ее громкий крик, она выскочила из комнаты с искаженным лицом. Я вошел и отдернул портьеру. Посмотрев на кровать, я понял, что юный студент жестоко ошибся относительно природы рыданий, стонов и скрипов, которые доносились до него через стену и которые толкнули его на отчаянный шаг. Я увидел на подушке голову со светлыми волосами

и лицо, чудесную красоту которого не смогли уничтожить ни тяжкие страдания, ни очевидные следы отравления мышьяком. Малышка умерла несколько часов назад, агония была, судя по всему, долгой и бурной.

На столе лежало письмо, которое не оставляло никаких сомнений по поводу мотивов самоубийства. Разумеется, это был случай острого одиночества и разочарования в жизни…

Доктор Рэй замолчал и дружески взглянул на меня.

Пораженный вопиющей несправедливостью судьбы, я как будто окаменел в своем кресле, и бессвязный ропот замер у меня на устах.

— Да… Стена… — задумчиво пробормотал доктор, — я думаю, это стоит внимания. Да и название готово: «Стена»… Вполне подойдет для вашей рождественской сказочки… Потому что приближается Рождество, а это для людского сердца пора чудес и тайны.

На Килиманджаро все в порядке

По дороге в Экс, в десяти километрах от Марселя, есть небольшая деревня Тушаг. Посреди ее главной площади высится бронзовый монумент. Он изображает мужчину в позе завоевателя — голова гордо откинута назад, одна нога выставлена вперед, левая рука упирается в бедро, правая — покоится на посохе. С первого же взгляда угадываешь в нем человека, только что покорившего пустыню, дотоле недоступную, и готового помериться силами с горной вершиной, на которую никто еще не поднимался. На табличке надпись: «Альберу Мезигу, славному первооткрывателю, покорителю неисследованных земель (1860-18...), его тушагские сограждане».

Музея в деревне нет, но в мэрии есть зал, отведенный специально под реликвии, принадлежавшие путешественнику. Там хранится, в частности, более тысячи открыток, присланных Альбером Мезигом своим согражданам со всех концов земли. На вид это весьма обыкновенные открытки, отпечатанные в середине века марсельской фирмой «Братья Салим» и изображающие различные «чудеса света»; к таким

открыткам бывший ученик парикмахера из Тушага питал, по-видимому, особую привязанность и запас их брал с собой во все свои путешествия.

Но если открытки, лишенные к тому же марок, содранных коллекционерами, ничем не примечательны, то сами послания, пестрящие экзотическими именами, нацарапанные наспех при самых удивительных обстоятельствах, захватывающе интересны: «Сезару Бируэтту, сыры, вина, площадь Пти-Постийон, с приветом. На Килиманджаро все в порядке. Здесь все покрыто вечными снегами. Наилучшие пожелания. Альбер Мезиг».

Или: «Жозефу Тантиньолю, домовладельцу, особняк Тантиньоль, проезд Тантиньоль. 80 градусов северной широты. Мы попали в ужасный шквал. Суждено ли нам спастись или нам уготована участь Ларусса и его отважных спутников? Соблаговолите принять уверения в моем совершеннейшем почтении. Альбер Мезиг».

Есть даже открытка, адресованная смертельному врагу путешественника, коварному сопернику, который оспаривал у него сердце одной из тушагских девиц, Мариусу Пишардону, парикмахеру, улица Оливье: «Привет из Конго. Здесь все кишит боа-констрикторами, и я думаю о тебе».

Справедливости ради следует заметить, что именно парикмахер Пишардон был тем человеком, которому удалось убедить членов Тушагского муниципалитета воздвигнуть статую своему знаменитому соотечественнику. Это доказывает лишний раз, что истинное величие завоевывает в конце концов даже самые заурядные души.

Но большая часть открыток адресована «мадемуазель Аделине Писсон, бакалейные товары Писсон, проезд Мимоз». Для туристов, которые интересуются любовными историями, особенно если они слегка приправлены грустью, чтение этих открыток — поистине царский пир. «Аделина, я начертал твое имя на троне далай-ламы (это что-то вроде живого бога у жителей Тибета, исповедующих буддизм). Почтительный привет твоей дорогой маме. Я надеюсь, что ревматизм мучит ее меньше. Твой Альбер».

Другая открытка, датированная двумя годами позже: «Нежные поцелуи с озера Чад (большое, постепенно пересыхающее озеро в центре Черной Африки. Крокодилы. Негритянки с корзинами. Охота на слонов, на антилоп, на кабанов. Основные сельскохозяйственные культуры отсутствуют). Туземцы весьма рекомендуют против ревматизма маниоковое масло. Скажи это своей

дорогой маме». Никогда, ни при каких, даже самых драматических, обстоятельствах не забывает он о ревматизме дорогой мамы.

«Мы заблудились в Аравийской пустыне. Я пишу твое имя на песке. Мне нравится пустыня: здесь столько места, чтобы писать твое имя. Мы испытываем ужасную жажду, но настроение бодрое: спасение всегда приходит в последний момент, таково мнение всех путешественников. Я надеюсь, что твоя дорогая мама не слишком страдает от сырости».

Еще одна открытка: «Джунгли Амазонки полны жужжания комаров. Я назвал твоим именем реку и бабочку. Пишардон, без сомнения, старается переманить к себе моих клиентов».

И еще: «В открытом море. Аделина, ты обещала стать моей на всю жизнь, когда я буду знаменит. С высоты бушующих валов говорю тебе: скоро!»

Впрочем, все эти открытки давно собраны и изданы в виде книги под названием «Странствия и приключения Альбера Мезига»; сборник этот справедливо относят к сокровищам провансальской литературы.

Что касается подлинной жизни и удивительной смерти знаменитого гражданина деревни Тушаг, то о них известно значительно меньше.

Все хорошо знают, что двадцати лет от роду он покинул родную деревню, поскольку местная девушка, которую он любил, мечтала выйти замуж за великого путешественника…

Однако похоже, что с тех пор никто нигде и никогда его не встречал. Ни в одном географическом обществе в списке членов нет его имени. О нем не упоминает ни одна газета того времени. Никогда больше не вернулся он в родную деревню, где тщетно ожидает его статуя. Правда, марсельские матросы утверждают, что некий господин, по описанию очень похожий на «великого исследователя», часто расспрашивал их о путешествиях. Он угощал их наливкой и давал открытки, прося: «Отправьте, пожалуйста, эту открытку из Мехико».

Но кто же пишет историю великого человека, основываясь на матросских россказнях? Его недруги — а у каждого льва есть свои блохи — злорадно повторяют несколько фраз, действительно загадочных, из одной открытки Мезига к мадемуазель Писсон, отправленной на восьмом году его великого странствия: «Итак, они воздвигли мне памятник. Все погибло, я никогда больше не смогу вернуться. Аделина, я осуществил твои мечты о славе, но какой ценой!»

Так или иначе, остается фактом, что вплоть до 1913 года никто не мог сказать, что произошло с человеком, который впоследствии за свой эпистолярный дар был прозван «Провансальским бардом». Граждане Тушага утверждают, что он погиб от недостатка кислорода во время восхождения на Эверест; то же мнение высказывает и профессор Корню в предисловии к первому изданию «Странствий и приключений».

Однако опубликованные в 1913 году полицейским комиссаром Пюжолем «Воспоминания о старом Марселе» бросают новый свет на «Провансальского барда» и его печальную участь: «20 июня 1910 года, четверг (запись полицейского). Сегодня скончался от разрыва сердца Альбер, парикмахер из квартала Вье-Пор, который подстригал мне бороду и усы целых двадцать лет. Я нашел беднягу в его мансарде, окна которой выходят на пристань. В руке он сжимал письмо, смысл которого, признаться, остался для меня темен.

„Дорогой господин Мезиг Альбер, — говорилось в письме. — Я получила вашу последнюю открытку из Рио-де-Жанейро (Бразилия), за которую спасибо. Вы можете продолжать, но знайте, что вот уже двадцать лет меня зовут мадам Аделина

Пишардон, ибо я сочеталась узами законного брака с Пишардоном Мариусом, известным парикмахером, которому подарила уже семерых детей. Вследствие этого разрешите рассматривать ваше брачное предложение, сделанное в присутствии свидетелей 2.6.1885 года, как несуществующее и не влекущее последствий. Я хотела сообщить вам об этом раньше до востребования, как обычно, но г-н Пишардон каждый раз был против, ибо, во-первых, он получает большое удовольствие от чтения ваших открыток, а во-вторых, благодаря вашим трудам у него собралась отличная коллекция марок. Должна, однако, с сожалением сообщить, что в ней недостает розовой Мадагаскарской за пятьдесят сантимов, на что он постоянно горько сетует, и это отравляет мне жизнь. Я уверена, что вы не сделали это нарочно, чтоб его позлить, как он думает, и что это простая забывчивость с вашей стороны. Вот почему я прошу вас немедленно восполнить пробел“». И подпись: «Навеки ваша Аделина Пишардон», подпись, которая сводит вечность к ее истинным размерам.

Я говорю о героизме

Несколько лет назад меня пригласили на Гаити прочесть в тамошнем Французском институте публичную лекцию на любую интересующую меня тему. Выбор темы не представлял для меня труда: я решил говорить о героизме. Тема эта отлично мне знакома. Я провел долгие часы в своей библиотеке, пристально изучая этот вопрос; такие явления, как опасность, мужество, способность к самопожертвованию, исследованы мной вдоль и поперек, и потому, прибыв в Порт-о-Пренс, я воистину был готов наилучшим образом выполнить стоявшую передо мной задачу.

Поскольку публика в Порт-о-Пренсе в высшей степени просвещенная и изысканная, я сделал правильно, выбрав для выступления темный костюм, украшенный лишь академической ленточкой в петлице. В зале, кстати, присутствовало немало хорошеньких женщин, и я не без удовольствия вспомнил, что совсем недавно прошел небольшой курс лечения, во время которого мне удалось сбросить килограммов двадцать весу.

В своей лекции я упоминал Сент-Экзюпери, Мальро, Ричарда Хиллари, и мне удалось, право

же весьма непринужденно, ни разу не говоря о моем личном опыте в качестве пассажира крупных авиалиний, вставить несколько раз «мы», что прозвучало скромно, но многозначительно. Акустика в зале была великолепная, прожектор освещал меня в наиболее выгодном ракурсе, и, уверенно объясняя слушателям, каким образом смерть, отважно встреченная лицом к лицу, может придать смысл всей жизни, я попутно удостоверился, что от нашего посольства явилось достаточно представителей, и попробовал определить количество хорошеньких женщин среди слушателей.

Внезапно я почувствовал на своем лице чей-то пристальный взгляд. В первом ряду сидел человек в черной одежде, выделявшейся даже на фоне темного зала, и ни на секунду не отрывал от меня внимательных глаз. Эта назойливость рассердила меня, тем более что в его взгляде мне почудился оттенок насмешки. Однако я не позволил выбить себя из колеи и закончил свою лекцию рассуждением о том, что современный герой, столкнувшись со смертельной опасностью, в свой последний час вновь открывает для себя все утраченные им ценности, и о том, сколь плодотворно такое переживание для про-

изведения искусства и для человеческой жизни. Когда я спустился с эстрады, человек, который так внимательно меня слушал, первый подошел с поздравлениями.

— Доктор Бомбон, — представился он. — Прекрасная лекция. Чувствуется глубокое личное знакомство с предметом.

Я сказал ему, что действительно был лично знаком с Жюлем Руа и что у нас с ним был один издатель.

— Кстати, — сказал он, — несколько ваших здешних читателей поручили мне сделать ваше пребывание на Гаити как можно более приятным. Вот я и подумал, может, вам будет любопытно поохотиться на акул возле рифа Ирокуа. Вам ведь, должно быть, по вкусу острые ощущения…

И правда, эта мысль пришлась мне по вкусу. Каждый литератор должен заботиться о том, чтобы создать вокруг своего имени легенду. Охота на акул в Карибском море могла представить в этом смысле известный интерес для будущих биографов. Поэтому я охотно принял предложение, сделанное любезным доктором. Мне представилось, как я, крепко привязанный к сиденью лодки, из последних сил сражаюсь с гигантской рыбиной, извивающейся на моем крючке… На-

завтра вечером я должен был повторить лекцию в Кап-Гаитьене, и мы с доктором решили выйти в море в шесть часов утра.

В назначенный час мы были на месте, и лодка доктора взяла курс в открытое море, цвет которого при всем своем отвращении к штампам я вынужден определить как изумрудный. Доктор курил коротенькую трубку и благодушно посматривал на меня.

— Кстати, — сказал он, — может быть, вы опробуете вашего «Кусто»?

— Моего… что?

— Вы должны опробовать ваш дыхательный аппарат, — объяснил доктор. — Вы спуститесь примерно на глубину пяти метров, прямо на коралловый риф, и баллоны с кислородом дадут вам по меньшей мере двадцать минут полной независимости. Сейчас я вам покажу, как обращаться с подводным ружьем. Это очень просто.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Что случилось? — ласково спросил он. — Что-нибудь не в порядке?

Я вынужден был сесть. В течение нескольких секунд я еще пытался обмануть себя. Но матросы уже собирали аппарат, а доктор, держа в руках ружье, предупредительно объяснял мне технику

стрельбы. Сомнений быть не могло. Речь шла не о ловле на крючок.

Эти люди собирались опустить меня в это самое Карибское море, кишащее акулами, и бросить одного с ружьем в руках среди этих гнусных тварей! Я открыл рот, чтобы отказаться…

— Вы знаете, — сказал доктор отвратительно нежным голосом, — я не могу передать вам, как мы все наслаждались вашей волнующей лекцией. О ней заговорит весь Гаити, это уж я беру на себя…

Мы посмотрели друг на друга. Я ничего не сказал и выдержал его взгляд. Бывают в жизни моменты, когда приходится грудью вставать на защиту своего ремесла. Единственное, чем я обладал в этом низком мире, была моя репутация лектора, и, если, для того чтобы ее сохранить, нужно было отдаться на съедение акулам, я не испытывал колебаний. Примерил маску — она была в самый раз. Я мрачно смотрел на зеленые волны. Погибнуть здесь, так нелепо, ни разу не издавшись стотысячным тиражом…

— Теперь наденьте свинцовый пояс. Он поможет быстрей погрузиться.

В его добродушном лице мне вдруг почудилось что-то дьявольское. Я предоставил ему возиться с

моим обмундированием.

— Эти ребята спустятся вместе с вами, — прибавил он, указывая на четверых великолепно сложенных гаитян, которые суетились вокруг меня.

«А! — с облегчением подумал я. — Телохранители!» Я почувствовал себя лучше.

— Это загонщики, — объяснил доктор. — Они поплывут справа и слева от вас и будут гнать на вас акул. Вам останется только стрелять.

У меня не хватило духу даже на протест. Все мне стало вдруг безразлично. Мне прицепили к ногам огромные ласты, напялили на меня пояс, маску и любезно помогли перебраться через борт.

Плюх!

Первые несколько минут я волчком крутился вокруг собственной оси, стремясь обезопасить себя со всех сторон одновременно. Я достиг, по-моему, весьма внушительной скорости вращения. Однако вскоре выдохся и вынужден был опуститься на песок, в гущу зеленого тумана, в котором ничего не было видно. Через несколько секунд я заметил справа коралловый риф и на четвереньках направился к нему, рассчитывая прикрыть хотя бы тылы. В то же мгновение я увидел длинную и узкую рыбу, которая вы-

скользнула из расщелины в скале и замерла в нескольких сантиметрах от моего носа. Я издал громкий вопль, но это была не акула.

Это была барракуда.

Никогда в жизни я не видел барракуд, но эту узнал немедленно. Существуют признаки, которые никогда не обманывают, и все они были налицо. Я не слишком хорошо припоминаю последующие мгновения, могу только сказать, что в противоположность тому, что я говорил в своей лекции, в минуту смертельной опасности герой вовсе не открывает для себя вечные жизненные ценности. Он делает совсем не то — вот и все, что я могу сказать. Когда я открыл глаза, барракуда уже удалилась. Я был один.

Я стал барахтаться, чтобы подняться на поверхность, и уже почти достиг ее, как вдруг увидел у себя над головой черное, огромных размеров тело, стремительно двигавшееся в моем направлении. Я завизжал, схватил ружье, закрыл глаза и нажал на спуск.

Ружье рванулось от меня со страшной силой, и мои руки едва не последовали за ним.

В мгновение ока я очутился на поверхности и энергично замахал руками. К моему великому счастью, лодка была совсем рядом и с медли-

тельностью, приводившей меня в отчаяние, направилась ко мне. Я же тем временем пытался подтащить ноги поближе к подбородку. Лодка подошла, и я с резвостью, удивительной для человека моего возраста, моментально вскарабкался в нее.

— А ружье?

Я перевел дыхание. Затем объяснил доктору, что со мной произошло. Я попал в акулу, и она, дернув за линь, вырвала ружье у меня из рук. Тут в лодку влезли чернокожие матросы.

Один из них держал мое ружье. Он сказал доктору несколько слов по-креольски. Тот весело посмотрел на меня.

— Судя по всему, — сказал он, — ваш гарпун воткнулся в днище лодки.

Этот бессовестный тип хотел, по-видимому, таким образом внушить мне, что я со страху принял проходившую надо мной лодку за акулу. «Ладно, ладно, — подумал я, — попробуй-ка это доказать».

— Я отчетливо видел акулу, проплывающую между моей головой и лодкой. Я промахнулся. Что ж, это бывает. В следующий раз постараюсь целиться лучше.

В тот же вечер в Кап-Гаитьене я преспокойно

рассказал директору нашего института о своей утренней охоте на акул возле Ирокуа.

— Возле Ирокуа? — сказал он. — Помилуйте, сколько я себя помню, возле Ирокуа никогда не было акул. Они не переплывают через рифы.

Поднявшись на кафедру, я, к величайшему моему удивлению — от Порт-о-Пренса до Кап-Гаитьена нужно целый час лететь на самолете, — увидел спокойно сидящего в первом ряду доктора Бомбона. По-видимому, он специально летел сюда, чтобы еще раз послушать мою лекцию о героизме. Наши взгляды скрестились. Но этот тип при всех своих дьявольских повадках плохо знал меня, если думал, что ему удастся меня смутить или обескуражить. Существует одно качество, наличие которого у меня никто не осмелится отрицать, — это моральное мужество. Он мог вкладывать в свои взгляды сколько угодно иронии — я был твердо намерен вновь подняться на высоту моей темы.

— Дамы и господа! — начал я. — Когда в своем одиночестве современный герой сталкивается со смертельной опасностью, то прежде всего он вновь открывает для себя…

Доктор Бомбон смотрел на меня, и в его взгляде можно было прочесть что-то вроде восхищения.

Жители Земли

Стоял когда-то до войны на дороге между Гамбургом и Нейгерном городишко, называемый Патерностеркирхен. Славился он стеклодувным производством, и на главной площади, прямо против Бургомистерского дворца, заезжие могли лицезреть легендарный фонтан, изображавший Стеклодува, то бишь приснопамятного мастера Иоганна Крулла, поклявшегося выдуть из стекла собственную душу, дабы стеклолитейное дело, гордость целого края, было подобающим образом представлено в раю. Но скульптура бравого Иоганна, свершающего свой подвиг, равно как и прелюбопытнейший, XIII века, Бургомистерский дворец, хранивший образцы всех шедевров, выдутых в Патерностеркирхене, да и весь крошечный городок, канули в небытие в годы последнего мирового конфликта — случайно, во время бомбежки.

Было четыре часа пополудни, и площадь Стеклодува пустовала. На западе желтое распухшее солнце медленно садилось в пелену черной пыли, накрывшую то место, где был недавно жилой квартал. Команда по расчистке доламы-

вала остатки Schola Cantorum, Певческой школы, которая славилась некогда по всей Германии тем, что сформировала известные на всю страну немецкие хоровые ансамбли. Школа была основана в 1760 году владельцами стеклодувных цехов, и дети рабочих с малолетства ходили туда разрабатывать легкие под руководством местного кюре. Падал редкий снег: снежинки медленно кружились и в нерешительности замирали, прежде чем коснуться земли. На площади по-прежнему не было ни души: вот пробежала по своим делам, уткнув нос в землю, тощая псина; воровато присела ворона и, подцепив что-то клювом, улетела прочь. На пустыре, где некогда начиналась Ganzgemtitlichgasschen,[6] появилась пара. Мужчина нес в руке чемодан; был он сильно в годах и невысок ростом, без шапки, в потёртом пальто, на шее — старательно замотанный шарф. Скорее всего, от холода он изо всех сил втягивал голову в плечи. Круглое сморщенное лицо с беспомощными глазами поросло седой щетиной. Выглядел он совершенно потерянным. Старик вел за руку молоденькую белокурую девушку; ее остановившиеся глаза смотрели перед собой, а

[6] Примечания: 6
Маленькая уютная улочка *(нем.).*

на губах застыла странная улыбка. На девушке была короткая юбка, слишком короткая для ее возраста, и детский бантик в волосах — будто она сама не заметила, как выросла. На вид ей казалось около двадцати. Девушка была ярко и неумело накрашена: на щеках рдели плохо размазанные пятна румян, толстый слой помады кривил рот. Видно, пальцы, наносившие грим, вконец закоченели. Туалет довершали облезлая короткая шубка с куцыми рукавами и рваные перчатки; ноги в шерстяных чулках были обуты в мужские башмаки.

Сделав несколько шагов по расчищенной площади, пара остановилась как раз в том месте, где прежде стоял бравый Иоганн, а теперь мокрая земля была изрыта колесами грузовиков, выезжавших на Гамбургскую дорогу. Снежинки нехотя садились на волосы и плечи путников. Снегопад был не снегопад, а так — он даже не мог выбелить город, а лишь подчеркивал разлитую кругом грязь.

— Где мы? — спросила девушка. — Вы нашли статую?

Старик окинул взглядом пустое пространство и вздохнул.

— Нашел, — сказал он. — Вот она, перед нами,

где и должна быть.

— Она красивая?

— Очень.

— Теперь вы довольны?

— Еще бы.

Он поставил чемоданчик на землю.

— Присядем на минутку, — сказал он. — Тут мимо проезжают грузовики, авось какой и подберет нас. Конечно, можно просто выйти на дорогу... Но разве мог я побывать здесь и не увидеть снова Иоганна Крулла? Я часто играл около него, когда был мальчишкой.

— Ну что ж, любуйтесь на свою статую, — сказала девушка. — Мы ведь не торопимся.

Они уселись вдвоем на чемоданчик и сидели некоторое время молча, прижавшись друг к другу. У них был спокойный и вполне домашний вид людей без крова. Девушка по-прежнему улыбалась, а мужчина задумчиво созерцал снежинки. Время от времени он выходил из оцепенения, бил себя руками в грудь и шумно дышал, затем стихал. Казалось, эти действия ненадолго согревали его. Девушка не двигалась вовсе, будто и не мерзла. Ее спутник стащил с себя правый башмак и, морщась, принялся растирать ступню. Порой на площадь вдруг выезжал грузовик,

груженный обломками; мужчина вскакивал и начинал судорожно махать руками. Но грузовик не останавливался. Тогда он садился и опять старательно разминал закоченевшую ступню.

Грузовики оставляли позади себя облака пыли и копоти, и проходило немало времени, прежде чем глаз вновь начинал различать падающий снег.

— Снег все еще идет? — спросила девушка.

— Не то слово! Скоро все будет белым-бело!

— Вот и славно.

— Что-что?

— Это славно, говорю.

Мужчина грустно глянул на худосочную снежинку, подставил ладонь и зажал в кулаке ледяную слезку.

— Красиво, должно быть, — сказала девушка. — Я люблю снег. А еще мне хотелось бы увидеть статую.

Мужчина не ответил ей, достал из кармана небольшую бутылку шнапса и сделал аккуратный глоток. Потом повел вокруг пугливыми глазами и снова прильнул к горлышку.

— Спиртным пахнет, — сказала девушка. Старик поспешно спрятал бутылку в карман.

— Это прохожий. Выпил, должно. А ты как ду-

мала, завтра небось Рождество!

— Припудрите мне лицо, — попросила девушка, — мне кажется, оно у меня все посинело.

— Это от холода, — ответил ее спутник и снова вздохнул.

Он порылся в карманах, нашел пудреницу, открыл. Пуховка несколько раз выпадала из его одеревенелых пальцев.

— Ну вот, — проговорил он наконец.

— Он посмотрел на меня?

— Кто? — удивился мужчина. — Ах, ну да, — спохватился он. — Конечно, на тебя все смотрят. Ты очень красивая.

— Мне все равно. Просто не хочу выглядеть чокнутой. Меня всегда красиво одевали и красиво причесывали. Родители очень за этим следили.

Стая ворон взвилась над пустырем, покружила над площадью и, каркая, полетела куда-то. Девушка подняла голову и широко улыбнулась.

— Вы слышите? — сказала она. — Мне нравится, как они каркают. Будто сразу картину видишь.

— Это точно, — согласился мужчина. Он боязливо огляделся, снова извлёк из кармана бутылку и отпил.

— Рождественскую картину, — продолжала девушка, по-прежнему улыбаясь и глядя в про-

странство. — Я вижу это так же отчетливо, как если бы видела взаправду. Трубы… из них в вечереющее небо поднимается дым… Продавец елок катит свою тележку… И лавки все такие нарядные, аппетитные… А в окнах огни и белые снежинки…

Ее спутник оторвался от бутылки и вытер губы.

— Ага, — откликнулся он хрипловато. — Все именно так. И еще снеговик: с трубкой и в цилиндре. Дети вылепили. Мы всегда в детстве снеговика на Рождество лепили.

— Если уж ко мне действительно должно вернуться зрение, хорошо бы под Рождество. Все кругом такое белое, чистое…

Старик мрачно уставился в грязную лужу у себя под ногами.

— Это точно, — согласился он.

— Заметьте, я совсем с этим не тороплюсь. Мне и так хорошо.

Старик вдруг заерзал на чемодане, замахал руками:

— Что ты, что ты! Не говори так! Вот потому ты и не видишь. Это психологическое… Врачи все как один сказали, что лечить тебя придется долго. И трудно. Но ты обязательно вылечишься. А если

ты будешь упрямиться, то даже профессор Штерн ничего не сможет сделать. Я все прекрасно знаю, все, что ты видела, что пережила…

Он сидел на своем чемоданчике, говорил и размахивал руками, и концы его шарфа подпрыгивали в такт.

— Да, конечно, ты пережила шок. Но ведь это же были солдаты… скоты, а не люди… Не все люди такие. В людей надо верить. И вовсе ты не слепая. Ты не видишь, потому что не хочешь видеть. Все врачи подтвердили, что это всего-навсего нервный шок… Если ты сама хоть капельку постараешься, если перестанешь упрямиться… Если захочешь видеть… Профессор Штерн обязательно тебя вылечит. Может, даже к следующему Рождеству. Только надо верить!

— От вас спиртным пахнет, — сказала девушка.

Старик замолк, спрятал руки в рукава и втянул голову в плечи. Он теснее придвинулся к девушке, и они снова замерли на чемоданчике, а снег танцевал вокруг них свой робкий танец.

Очередной грузовик, оставив позади руины Певческой школы, выехал на площадь. Старик снова поднялся. Он не выказал радости, когда грузовик вдруг затормозил, и вроде даже не огор-

чился, когда тот дал газ. Машина везла обломки, и над площадью повисло облако рыжей пыли. Оно коснулось лица девушки, и она принялась тереть глаза. Старик вынул из кармана белоснежный платок и с величайшей осторожностью стал вытирать ей лоб и веки, будто хотел стереть с ее лица малейшие следы грязи.

— Не остановился? — спросила девушка.

— Он нас просто не заметил.

Постепенно их окутал мрак, и снежные хлопья сменились звездами. Сонно прокаркав, разлетелись последние вороны, и на небо взошла луна, чтобы слегка приаккуратить мир и развеять тьму. Проехал еще один грузовик: фары его пристально вперились в путников, но затем равнодушно отвернулись.

— Надо бы пройти чуть дальше, — сказал мужчина. — Они просто едут в другую сторону. Не менять же им из-за нас направление.

Девушка встала в ожидании. Мужчина засуетился вокруг чемодана.

— Сейчас, сейчас! — Он покосился в ее сторону, вынул из чемодана другую бутылку, побольше, и приложился к горлышку. Остановился, перевел дух и приложился снова. Чемодан его был набит игрушками: куклами, плюшевыми медведями,

разноцветными шарами и елочной мишурой. Еще там был костюм Деда Мороза: красный с белой оторочкой халат, колпак с помпоном и накладная белая борода. Старик закрыл чемодан, взял девушку за руку и направился к шоссе. Асфальт от снега стал мокрым, и дорога под ногами блестела. Вскоре они подошли к столбу с указателем «На Гамбург»; до города было шестьдесят километров. Посмотрев на табличку, мужчина прибавил шаг.

— Почти уже пришли, — отметил он удовлетворенно.

На дороге сверкнул фарами грузовик и под монотонно нарастающее рычание широко распахнул горящие глаза. Старик встрепенулся, засуетился, замахал руками. Грузовик пронесся мимо, потом затормозил и медленно попятился. Старик засеменил к дверце.

— Нам в Гамбург! — выкрикнул он.

Лица шофера не было видно: из глубины кабины синеватый огонек дежурной лампочки выхватывал лишь общие очертания фигуры и дрожащие на баранке руки. Шофер, вероятно, разглядывал путников. Одна рука оторвалась от руля — знак садиться. В кабине было жарко. Девушка прислонилась к дверце, сунула руки

поглубже в рукава и заснула, не дожидаясь, пока машина тронется. Старик устроился рядом, втащив чемодан на колени. Он был настолько мал ростом, что ноги его в грязных, потрескавшихся башмаках болтались, не доставая до пола. Круглое бесцветное лицо, несмотря на морщины и седую щетину, казалось совсем детским в синем свете лампочки. Старика мотало из стороны в сторону, но он изо всех сил старался не толкнуть и не разбудить девушку. От жары и рева мотора, прибавившихся к общей усталости и действию шнапса, он совсем разомлел, а разомлев, сделался словоохотливым и принялся болтать с шофером. Рассказал, что зовут его Адольф Каннинхен, что он бродячий торговец из Ганновера и что, если бы у шофера были дети, он мог бы показать ему свой товар… Но шофер будто и не слушал; лица его было совсем не разглядеть, один только блик от ночника. Порой он бросал быстрый взгляд на девушку, прикорнувшую в своем уголке. Старик же болтал без умолку: дела-де у него шли неважнецки, понадеялся вот на праздники, потратился, накупил всякой всячины для Рождества да костюм Деда Мороза в придачу; ходил-ходил по улицам в красном колпаке, с бородой, да только все зря; совсем голодно им обоим стало… Может,

в Гамбурге дело пойдет на лад, большой город все-таки. Так что теперь они в Гамбург едут. Это все ради девушки. Она… как бы это сказать… больна, в общем. Родителей у нее убило, а с бедняжкой беда приключилась. Нет-нет, он не собирается вдаваться в подробности… солдаты есть солдаты, какой с них спрос. Но для малышки это был настоящий шок: она вдруг взяла да и ослепла. Вернее, как говорит доктор, у нее случилась психологическая слепота. Она просто не хочет видеть этот мир — вот и все. Очень сложный случай. Не то чтобы она по-настоящему была слепа, но это все равно, что по-настоящему, раз она не может видеть. То есть она не хочет ничего видеть, но врачи говорят, что это все одно слепота, самая что ни на есть настоящая, а никакое не притворство. Они говорят, это такая форма истерии. Вот не хочет видеть — и все тут. Прячется в свою слепоту, вот как они говорят. И вылечить это совсем непросто: тут чуткость нужна, и деликатный подход, и даже самоотверженность… Шофер в очередной раз повернул голубоватый блик своего лица и пристальней посмотрел на девушку, потом снова уставился на дорогу…

Да, вот ведь какая история, малышка такой хрупкой оказалась, ну прямо чистое стекло… То

бомбежка, то поди проживи на этих развалинах, а потом еще и солдаты… Да что с них взять, сами не ведали, что творили, война, знаете, они думали, так и надо… Да только вот с тех самых пор малышка крепко-накрепко закрыла свои глазки. То есть она их внутри закрыла, а так-то они у нее всегда открыты. И очень даже, знаете ли, хорошенькие — голубые-голубые. В общем, все это трудно объяснить, психология, одним словом. Но ее вылечат, непременно вылечат, наука так стремительно развивается, оглянитесь вокруг: это же просто чудо, особенно в Германии; у нас такие замечательные ученые, прямо-таки пионеры нового мира, даже враги это признают. Правда, доктора говорят, что настоящий специалист есть только один. Это доктор Штерн из Гамбурга. Таких, как он, больше нет на свете, это не человек, а событие. Все врачи в один голос так говорят. Он даже лечит задаром, если случай интересный. А у малышки случай еще какой интересный, это уж точно. Психологическая слепота — так врачи говорят. Очень редкий случай, прямо-таки уникальный. Как раз то, что профессору надо, потому как у него ко всему психологический подход. А с больными он такой деликатный — деликатность перво-наперво нужна, и не только в этом — гово-

рит с ними, а сам записи делает, а потом, через несколько месяцев, хоп — и больной здоров. Только долго это все, вот беда. Тут ведь надо действовать с величайшей осторожностью. А крошка эта, вы понимаете, ну прямо как надтреснутое стекло, впору в вате хранить. Мне приходится очень следить за тем, что и как я ей рассказываю: все в веселых красках — никаких разрушенных стен, никаких солдат; кругом только славные домики с красной черепицей, садики-огородики да добрые люди. Я все ей описываю в розовых тонах, понимаете? И мне, представьте, совсем это нетрудно, я ведь в душе оптимист. Верю я людям. Я всегда говорил: верьте людям, и они отплатят вам сторицей. Я вот только чего боюсь: что лечение очень уж затянется. Ну да ладно, авось люди в Гамбурге до игрушек охочи. Уж кого-кого, а ребятишек в Германии хватает, это скорей родителей маловато, вот игрушки никто и не покупает. Но я, знаете ли, все равно оптимист. Просто мы, люди, еще не достигли высот, мы еще как бы в начале пути. Но надо все время идти вперед и вперед, и тогда из этого непременно выйдет толк. Я лично верю в будущее. Ведь малышка мне не дочка и даже не племянница, нет, она мне совсем никто, чужая то есть. Если только можно считать чужим

своего ближнего…

Он сидел с чемоданом на коленях и размахивал руками, и лицо его было совсем синим от света ночника. Шофер снова окинул взглядом девушку, задержался на нарумяненных щеках, на губах, приоткрытых в сонной улыбке, на розовой ленточке в светлых волосах. Торговец игрушками продолжал что-то лепетать, качался все больше и поминутно тыкался подбородком себе в грудь… Внезапно завизжали тормоза. Старик уже успел заснуть, сложившись вдвое над своим чемоданом. По инерции он подался вперед, стукнулся лбом о ветровое стекло и вскрикнул:

— Господи Боже мой, что случилось?

— Вылазь.

— Вы дальше не поедете?

— Вылазь, говорю. Старик засуетился.

— Ну что ж, ничего не поделаешь… И на том спасибо…

Он соскочил на землю, поставил чемоданчик и протянул руки, чтобы помочь спуститься девушке. Но шофер склонился вбок, захлопнул дверцу у него перед носом и дал газ. Старик остался стоять на дороге со всё еще протянутыми руками и разинутым ртом. Он проводил глазами уплывающие красные огоньки, охнул, подхватил чемодан и

бросился вдогонку. Снег повалил сильней; человечек на дороге нелепо дрыгался и размахивал руками под густым снегопадом. Сначала он долго бежал, потом запыхался и замедлил шаг; затем остановился, сел на дорогу и заплакал. Снежинки участливо кружились над ним, садились на волосы, залезали за воротник. Старик перестал плакать, но начал икать и, чтобы унять икоту, снова принялся колотить себя в грудь. Наконец он глубоко вздохнул, вытер глаза кончиком шарфа, подобрал чемоданчик и снова пустился в путь. Так шел он добрых полчаса, как вдруг заметил впереди знакомую фигурку. Радостно вскрикнув, он бросился к ней. Девушка неподвижно стояла посреди дороги и, казалось, ждала.

Вытянув руку, она улыбалась: пушистые хлопья таяли у нее на ладони. Старик обнял ее за плечи.

— Прости меня, — пролепетал он. — Я чуть было не потерял веру… Я так за тебя испугался! Уже вообразил невесть что… Думал, больше тебя не увижу.

Розовый шелковый бант на девушке был развязан. Краска на лице смазалась, помада была растерта по щекам и шее, «молния» на юбке вырвана. Она неловко придерживала сползавший чулок.

— Кто его знает, а вдруг бы он тебя обидел…

— Не надо все время ожидать худшего, — сказала девушка.

Старик энергично закивал.

— Верно, верно, — согласился он. Он поднял руку и поймал снежинку.

— Ах, если бы только ты могла это видеть! Вот это уж действительно снег так снег! Завтра все будет белым-белехонько. Все такое белое, новое, чистое. Ну а теперь в дорогу! Теперь уж, должно быть, рукой подать.

Вскоре они подошли к верстовому столбу, и старик, вытянув шею, прочел: «Гамбург, сто двадцать километров». Он поспешно сдернул с себя очки и в растерянности широко распахнул рот и глаза. Этот шоферюга увез их на целых шестьдесят километров в другую сторону. Ехал-то он, оказывается, вовсе не в Гамбург. Бедняга, он, наверно, не понял, что от него хотят.

— Вперед, — бодро сказал торговец игрушками, — теперь уж и впрямь недалеко.

Он взял девушку за руку, и они двинулись вперед сквозь снежно-белую ночь, нежно льнущую к их щекам.

Как я мечтал о бескорыстии

Только безнадежно очерствевшие люди не смогут понять, почему я в конце концов решил уйти от цивилизации и поселиться на одном из островов Тихого океана, на каком-нибудь коралловом рифе, на берегу голубой лагуны, вдали от меркантильного мира, для которого не существует ничего, кроме бешеного стремления к обогащению.

Я мечтал о бескорыстии. Я чувствовал, что мне необходимо уйти из этой атмосферы оголтелого соперничества, жажды наживы, отсутствия щепетильности, в которой все труднее и труднее обрести душевный покой такому деликатному человеку, как я.

Да, бескорыстия мне больше всего не хватало. Все мои знакомые знают, как я ценю это качество, основное и, пожалуй, единственное, которого я требую от друзей. Я мечтал быть окруженным простыми, услужливыми людьми, неспособными на мелочные расчеты, которых я мог бы попросить оказать мне любую услугу, отвечая им искренней дружбой и не опасаясь, что корыстные соображения испортят наши отношения.

Итак, я ликвидировал все свои дела и в начале лета прибыл на Таити.

Папеэте разочаровал меня.

Город прекрасен, но повсюду видны следы цивилизации, все имеет свою цену. С выражением «зарабатывать на жизнь» здесь сталкиваешься на каждом шагу, а я уже сказал, что именно деньги заставили меня бежать как можно дальше.

Тогда я решил поселиться на Тараторе — одном из затерянных островков архипелага Маркизских островов, выбранном наугад по карте. Пароход заходит туда всего три раза в год.

Ступив на остров, я понял, что наконец мечта моя готова осуществиться.

Тысячу раз описанная красота полинезийских пейзажей, еще более потрясающая, когда видишь ее собственными глазами, открылась мне, как только я сошел на берег: пальмы, спускающиеся с головокружительной высоты гор к берегу, неподвижные воды лагун, защищенных коралловыми рифами, небольшая деревня, состоящая из соломенных хижин, сама легкость которых, казалось, свидетельствовала о беззаботном характере их обитателей, уже бежавших ко мне с распростертыми объятиями. Я сразу понял, что приветливое, дружеское отношение может их

заставить сделать все на свете.

Меня встречало все население: несколько сот человек, не тронутых влиянием торгашеских идей нашего капитализма и абсолютно безразличных к наживе. Я поселился в лучшей хижине деревни и окружил себя всем самым необходимым: собственным рыбаком, собственным садовником, собственным поваром, и все это бесплатно, на основе самых простых и самых трогательных братских отношений и взаимного уважения.

Всем этим я был обязан удивительной доброте и душевной чистоте населения, а также особой благосклонности Таратонги.

Таратонга, женщина лет около пятидесяти, окруженная всеобщей любовью, была дочерью вождя, власть которого в свое время распространялась более чем на двадцать островов архипелага. Я приложил все усилия, чтобы заручиться ее дружбой. Впрочем, это получилось совершенно естественно. Я рассказал ей, почему приехал на остров, рассказал, как ненавижу торгашеский дух и расчетливость, как мне необходимо найти бескорыстных, простодушных людей, без которых не может существовать человечество, и как я рад и благодарен ей, что все это я, наконец, нашел у

ее народа. Таратонга сказала, что она прекрасно меня понимает и что у нее единственная цель в жизни — не допустить, чтобы деньги развратили душу ее людей. Я понял намек и торжественно обещал, что за время пребывания на Тараторе не выну из кармана ни одного су. Я строго выполнял столь деликатно данный мне приказ и даже спрятал все имевшиеся у меня наличные.

Так я прожил три месяца. Однажды мальчик принес мне подарок от той, которую я мог теперь называть своим другом Таратонгой.

Это был ореховый торт, собственноручно испеченный ею для меня. Мне сразу бросилось в глаза полотно, в которое он был завернут, — грубая мешковина, покрытая странными красками, смутно напоминавшими что-то, но я не мог сразу сообразить, что именно.

Я более внимательно рассмотрел холст, и сердце мое бешено заколотилось.

Я вынужден был сесть. Я положил холст на колени и стал бережно его разворачивать. Это был прямоугольный кусок ткани размером 50 на 30 сантиметров; краска, покрывавшая его, вся растрескалась, а местами почти совсем стерлась.

Какое-то время я недоверчиво рассматривал полотно.

Не могло быть никаких сомнений.

Передо мной была картина Гогена.

Я не слишком большой знаток живописи, но есть художники, которых узнают сразу, не задумываясь. Трясущимися руками я еще раз развернул полотно и стал тщательно изучать каждую деталь. На нем были изображены часть таитянской горы и купальщицы у источника. Цвет, рисунок и сюжет были настолько знакомы, что, несмотря на плохое состояние картины, ошибиться было невозможно.

У меня сильно закололо в правом боку, там, где печень, что всегда бывает со мной, когда я очень волнуюсь.

Картина Гогена на этом затерянном острове! А Таратонга заворачивает в нее торт! Если ее продать в Париже, она бы стоила пять миллионов франков. Сколько еще полотен она пустила на обертки и на то, чтобы затыкать дыры? Какая величайшая потеря для человечества!

Я вскочил и бросился к Таратонге, чтобы поблагодарить за торт.

Она сидела около дома, лицом к лагуне, и курила трубку. Это была полная женщина с седеющими волосами, и во всей ее до пояса обнаженной фигуре было разлито величайшее

достоинство.

— Таратонга, я съел твой торт. Он был великолепен. Спасибо.

Таитянка, казалось, обрадовалась.

— Я тебе сделаю сегодня другой.

Я раскрыл было рот, но не сказал ничего. Надо быть тактичным. Я не имел права дать почувствовать этой величественной женщине, что она дикарка, сворачивающая пакеты из творений одного из величайших гениев мира. Сознаю, что страдаю излишней чувствительностью, но я не мог допустить, чтобы она догадалась о своем невежестве. Я промолчал, утешившись тем, что получу еще один торт, снова завернутый в картину Гогена.

Дружба — это единственное, чему нет цены. Я вернулся к себе в хижину и стал ждать.

В полдень опять принесли торт, завернутый в другую картину Гогена. Она была в еще худшем состоянии, чем предыдущая. Казалось, что кто-то скреб ее ножом. Я чуть не бросился к Таратонге, но сдержал себя. Нужно было действовать осторожно. Назавтра я пошел к ней и сказал только, что я никогда в жизни не ел ничего вкуснее ее торта.

Она снисходительно улыбнулась и набила

трубку.

В течение восьми следующих дней я получил три торта, завернутых в три картины Гогена. Я переживал удивительные часы. Душа моя пела — нет других слов, чтобы описать сильное художественное волнение, овладевшее мною.

Торты продолжали приносить, но уже незавернутые. Я совсем потерял сон. Больше не было картин или Таратонга просто забывала завернуть торт? Я был раздосадован и даже немного возмущен. Надо признать, что, несмотря на все свои достоинства, жители Тараторы не лишены серьезных недостатков, одним из которых является некоторое легкомыслие, никогда не позволяющее полностью на них надеяться. Я принял успокоительные пилюли и стал обдумывать, как бы деликатнее поговорить с Таратонгой, не подчеркивая ее невежества. В конце концов я решил быть откровенным и направился к своему другу Таратонге.

— Таратонга, ты мне прислала несколько тортов. Они были изумительны. К тому же они были завернуты в расписанные красками куски мешковины, очень заинтересовавшие меня. Я люблю яркие краски. Откуда они у тебя? У тебя есть еще?

— Ах, эти… — безразлично проронила Таратонга. — У моего дедушки их была целая куча.

— Целая куча? — пробормотал я.

— Да, они достались ему от француза, жившего на острове. Он развлекался тем, что покрывал эту рогожу красками. У меня, наверное, еще что-нибудь осталось.

— Много? — пролепетал я.

— О! Я не знаю. Ты можешь посмотреть. Пойдем.

Она проводила меня в сарай, забитый сушеной рыбой и копрой. На полу, засыпанном песком, валялась, вероятно, дюжина картин Гогена. Все они были написаны на мешковине и очень пострадали, впрочем, некоторые из них были вполне в приличном состоянии. Я побледнел и еле держался на ногах. «Господи, — подумал я, — сколько бы потеряло человечество, не окажись я здесь». Они стоили миллионов тридцать.

— Ты можешь их взять, если хочешь, — сказала Таратонга.

Душу мою разрывали страшные сомнения. Я знал, насколько бескорыстны эти удивительные люди, и не хотел отравлять их сознание такими понятиями, как цена и стоимость, погубившими столько райских уголков на земле. И все же пред-

рассудки нашей цивилизации крепко сидели во мне и не позволяли принять такой подарок, ничего не предлагая взамен. Решительно сорвав с руки отличные золотые часы, я протянул их Таратонге:

— Позволь и мне сделать тебе подарок.

— Мы не нуждаемся в них, чтобы знать время. Нам достаточно взглянуть на солнце. Тогда я принял отчаянное решение:

— Таратонга, к сожалению, я должен вернуться во Францию. Интересы всего человечества требуют этого. Пароход будет через восемь дней, и я вас покину. Я принимаю твой подарок, но при условии, что ты разрешишь мне сделать что-нибудь для тебя и твоего народа. У меня есть немного денег, совсем немного. Позволь мне их оставить, вам ведь могут понадобиться какие-нибудь инструменты и лекарства.

— Как хочешь, — равнодушно произнесла она.

Я передал ей семь тысяч франков, схватил полотна и бросился к себе. Неделя в ожидании парохода была беспокойной, я и сам не знал, чего я боялся, но мне не терпелось уехать. Некоторые поэтические натуры не могут любоваться прекрасным в одиночку, им совершенно необходимо разделить эту радость с себе подобными.

Я торопился во Францию, чтобы предложить свое сокровище торговцам картин. За него можно было получить миллионов сто. Досадно было только, что процентов тридцать-сорок полученной стоимости уйдет в пользу государства. Так наша цивилизация вторгается в самую интимную область — область красоты.

На Таити мне пришлось пятнадцать дней ждать парохода во Францию. Я старался как можно меньше говорить о своем атолле и Таратонге. Я не хотел, чтобы рука какого-нибудь промышленника коснулась моего рая. Однако хозяин отеля, где я остановился, хорошо знал остров и Таратонгу.

— Довольно экстравагантная дамочка, — сказал он однажды вечером.

Я молчал. Я считал слово «дамочка» оскорбительным в применении к самому благородному человеку, которого я когда-либо знал.

— Она, конечно, показала вам свои картины? Я выпрямился:

— Простите?..

— Она довольно хорошо рисует, ей-Богу. Лет двадцать тому назад она провела три года в Школе декоративного искусства в Париже. Когда с появлением разных заменителей цены на копру упали, она вернулась на остров. Она удивительно

имитирует Гогена. У нее постоянный контракт с Австралией, которая платит ей двадцать тысяч франков за полотно. Она живет этим… Что с вами, мой друг? Вам нехорошо?

— Пустяки, — невнятно пробормотал я.

Не знаю, как я нашел силы встать, подняться к себе в комнату и броситься на кровать. Я лежал в какой-то прострации, охваченный глубоким, непреодолимым чувством отвращения. Мир опять обманул меня. Самые низкие расчеты разъедают человеческие души и в крупных столицах, и на маленьких островках Тихого океана.

Воистину мне осталось только удалиться на необитаемый остров и жить одному.

Старая-престарая история

Столица Боливии Ла-Пас расположена на высоте пять тысяч метров над уровнем моря. Выше не заберешься — нечем дышать. Там есть ламы, индейцы, иссушенные солнцем плато, вечные снега, мертвые города. По тропическим долинам рыщут золотоискатели и ловцы гигантских бабочек.

Шоненбаум грезил этим городом едва ли не каждую ночь, пока два года томился в немецком концлагере в Торнберге. Потом пришли американцы и распахнули перед ним двери в мир, с которым он совсем было распрощался. Боливийской визы Шоненбаум добивался с упорством, на какое способны только истинные мечтатели. Он был портным из Лодзи и продолжал старинную традицию, прославленную до него пятью поколениями польско-еврейских портных. В конце концов Шоненбаум перебрался в Ла-Пас и после нескольких лет истового труда сумел открыть собственное дело и даже достиг известного процветания под вывеской «Шоненбаум, парижский портной». Заказов становилось все больше; вскоре ему пришлось искать себе помощника.

Задача оказалась не из простых: среди индейцев с суровых плато встречалось на удивление мало портных «парижского класса» — тонкости портняжного искусства не давались их задубевшими пальцам. Обучение заняло бы так много времени, что не стоило за него и браться. Оставив тщетные попытки, Шоненбаум смирился со своим одиночеством и грудой невыполненных заказов. И тут на помощь пришел нежданный случай, в котором он усмотрел перст благоволившей к нему Судьбы, ибо из трехсот тысяч его лодзинских единоверцев уцелеть посчастливилось немногим.

Жил Шоненбаум на окраине города. Каждое утро перед его окнами проходили караваны лам. Согласно распоряжению властей, желавших придать столице более современный вид, ламы лишались права дефилировать по улицам Ла-Паса; тем не менее животные эти были и остаются единственным средством передвижения на горных тропах и тропинках, где о настоящих дорогах еще и не помышляют. Так что вид лам, навьюченных ящиками и тюками, покидающих на рассвете пригород, запомнится многим поколениям туристов, надумавших посетить эту страну.

По утрам, направляясь в свое ателье, Шонен-

баум встречал такие караваны. Ему нравились ламы, только он не понимал отчего: может, потому, что в Германии их не было?.. Караван состоял обычно из двух-трех десятков животных, каждое из которых способно переносить груз, в несколько раз превышающий его собственный вес. Иногда два, иногда три индейца перегоняли караваны к далеким андийским деревушкам.

Как-то ранним утром Шоненбаум спускался в город. Завидев караван, он, как всегда, умиленно заулыбался и умерил шаг, чтобы погладить какое-нибудь животное. В Германии он никогда не гладил ни кошек, ни собак, хотя их там водится великое множество; да и к птицам оставался равнодушен. Разумеется, это лагерь смерти столь недружелюбно настроил его к немцам. Гладя бок ламы, Шоненбаум случайно взглянул на погонщика-индейца. Тот шлёпал босиком, зажав в руке посох, и поначалу Шоненбаум не обратил на него особого внимания. Его рассеянный взгляд готов был соскользнуть с незнакомого лица: ничего особенного, лицо как лицо, худое, обтянутое желтой кожей и как будто высеченное из камня: словно над ним много столетий подряд трудились нищета и убожество. Вдруг что-то шевельнулось в груди Шоненбаума — что-то смутно

знакомое, давно забытое, но все еще пугающее. Сердце бешено застучало, память же не торопилась с подсказкой. Где он видел этот беззубый рот, угрюмо повисший нос, эти большие и робкие карие глаза, взирающие на мир с мучительным упреком: вопрошающе-укоризненно? Он уже повернулся к погонщику спиной, когда память разом обрушилась на него. Шоненбаум сдавленно охнул и оглянулся.

— Глюкман! — закричал он. — Что ты тут делаешь?

Инстинктивно он крикнул это на идише. Погонщик шарахнулся в сторону, будто его обожгло, и бросился бежать. Шоненбаум, подпрыгивая и дивясь собственной резвости, кинулся за ним. Надменные ламы чинно и невозмутимо продолжали шагать дальше. Шоненбаум догнал погонщика на повороте, ухватил за плечо и заставил остановиться. Ну конечно, это Глюкман — никаких сомнений: те же черты, то же страдание и немой вопрос в глазах. Разве можно его не узнать? Глюкман стоял, прижавшись спиной к красной скале, разинув рот с голыми деснами.

— Да это же ты! — кричал Шоненбаум на идише. — Говорю тебе, это ты!

Глюкман отчаянно затряс головой.

— Не я это! — заорал он на том же языке. — Меня Педро зовут, я тебя не знаю!

— А где же ты идиш выучил? — торжествующе вопил Шоненбаум. — В боливийском детском саду, что ли?

Глюкман еще шире распахнул рот и в отчаянии устремил взгляд на лам, словно ища у них поддержки. Шоненбаум отпустил его.

— Чего ты боишься, несчастный? — спросил он. — Я же друг. Кого ты хочешь обмануть?

— Меня Педро зовут! — жалобно и безнадежно взвизгнул Глюкман.

— Совсем рехнулся, — с сочувствием проговорил Шоненбаум. — Значит, тебя зовут Педро. А это что тогда? — Он схватил руку Педро и посмотрел на его пальцы: ни одного ногтя. — Это что, индейцы тебе ногти с корнями повыдергали?

Глюкман совсем вжался в скалу. Губы его наконец сомкнулись, и по щекам заструились слезы.

— Ты ведь меня не выдашь? — залепетал он.

— Выдашь? — повторил Шоненбаум. — Да кому же я тебя выдам? И зачем?

Вдруг от жуткой догадки у него сдавило горло, на лбу выступил пот. Его охватил страх — тот самый панический страх, от которого вся земля так, кажется, и кишит ужасами. Шоненбаум взял

себя в руки.

— Да ведь все кончилось! — крикнул он. — Уже пятнадцать лет как кончилось.

На худой и жилистой шее Глюкмана судорожно дернулся кадык, лукавая гримаса скользнула по губам и тут же исчезла.

— Они всегда так говорят! Не верю я в эти сказки.

Шоненбаум тяжело перевел дух: они были на высоте пять тысяч метров. Впрочем, он понимал: не в высоте дело.

— Глюкман, — сказал он серьезно, — ты всегда был дураком. Но все же напрягись немного. Все кончилось! Нет больше Гитлера, нет СС, нет газовых камер. У нас даже есть своя страна, Израиль. У нас своя армия, свое правительство, свои законы! Все кончилось! Не от кого больше прятаться!

— Ха-ха-ха! — засмеялся Глюкман без намека на веселье. — Со мной этот номер не пройдет.

— Какой номер с тобой не пройдет? — опять закричал Шоненбаум.

— Израиль, — заявил Глюкман. — Нет его.

— Как это нет? — рассердился Шоненбаум и даже ногой топнул. — Нет, есть! Ты что, газет не читаешь?

— Ха! — сказал Глюкман, хитро прищурив-

шись.

— Даже здесь, в Ла-Пасе, есть израильский консул! Можно получить визу. Можно туда поехать!

— Не верю! — уперся Глюкман. — Знаем мы эти немецкие штучки.

У Шоненбаума мороз прошел по коже. Больше всего его пугало выражение хитрой проницательности на лице Глюкмана. «А вдруг он прав? — подумалось ему. — Немцы вполне способны на такое: явитесь, мол, в указанное место с документами, подтверждающими вашу еврейскую принадлежность, и вас бесплатно переправят в Израиль. Ты приходишь, послушно садишься в самолет — и оказываешься в лагере смерти. Бог мой, — подумал Шоненбаум, — да что я такое насочинял?» Он стер со лба пот и попытался улыбнуться.

Глюкман продолжал с прежним видом осведомленного превосходства:

— Израиль — это хитрый ход, чтобы всех нас вместе соединить. Чтобы, значит, даже тех, кому спрятаться удалось. А потом всех в газовую камеру… Ловко придумано. Уж немцы-то это умеют. Они хотят всех нас туда согнать, всех до единого. А потом всех разом… Знаю я их.

— У нас есть свое собственное еврейское го-

сударство, — вкрадчиво, будто обращаясь к ребенку, сказал Шоненбаум. — Есть президент, его зовут Бен-Гурион. Армия есть. Мы входим в ООН. Все кончилось, говорят тебе.

— Не пройдет, — упрямо твердил Глюкман. Шоненбаум обнял его за плечи.

— Пошли, — сказал он. — Жить будешь у меня. Сходим с тобой к доктору.

Шоненбауму понадобилось два дня, чтобы разобраться в путаных речах бедняги. После освобождения, которое он объяснял временными разногласиями между антисемитами, Глюкман затаился в высокогорьях Анд, ожидая, что события вот-вот примут привычный ход, и надеясь, что, выдавая себя за погонщика со склонов Сьерры, он сумеет избежать гестапо. Всякий раз, как Шоненбаум принимался растолковывать ему, что нет больше никакого гестапо, что Гитлер мертв, а Германия разделена, тот лишь пожимал плечами: уж он-де знает что почем, его на мякине не проведешь. Когда же, отчаявшись, Шоненбаум показал ему фотографии Израиля: школы, армию, бесстрашных и доверчивых юношей и девушек, — Глюкман в ответ затянул заупокойную молитву и принялся оплакивать безвинных жертв, которых враги вынудили собраться вме-

сте, как в варшавском гетто, чтобы легче было с ними расправиться.

Что Глюкман слаб рассудком, Шоненбаум знал давно; вернее, рассудок его оказался менее крепким, нежели тело, и не выдержал зверских пыток, выпавших на его долю. В лагере он был излюбленной жертвой эсэсовца Шультце, садиста, прошедшего многоэтапный отбор и показавшего себя достойным высокого доверия. По неведомой причине Шультце сделал несчастного Глюкмана козлом отпущения, и никто из заключенных уже не верил, что Глюкман выйдет живым из его лап.

Как и Шоненбаум, Глюкман был портным. И хотя пальцы его утратили былую ловкость, вскоре он вновь обрел достаточно сноровки, чтобы включиться в работу, и тогда «парижский портной» смог наконец взяться за заказы, которых с каждым днем становилось все больше. Глюкман никогда ни с кем не разговаривал и работал, забившись в темный угол, сидя на полу за прилавком, скрывавшим его от посторонних глаз. Выходил он только ночью и отправлялся проведать лам; он долго и любовно гладил их по жесткой шерсти, и глаза его при этом светились знанием какой-то страшной истины, абсолют-

ным всепониманием, которое подкреплялось мелькавшей на его лице хитрой и надменной улыбкой. Дважды он пытался бежать: в первый раз, когда Шоненбаум заметил как-то походя, что минула шестнадцатая годовщина крушения гитлеровской Германии; во второй раз, когда пьяный индеец принялся горланить под окном, что-де «великий вождь сойдет с вершин и приберет наконец всё к рукам».

Только полгода спустя после их встречи, незадолго до Йом Кипур, в Глюкмане что-то переменилось. Он вдруг обрел уверенность в себе, почти безмятежность, будто освободился от чего-то. Даже перестал прятаться от посетителей. А однажды утром, войдя в ателье, Шоненбаум услышал и вовсе невероятное: Глюкман пел. Вернее, тихо мурлыкал себе под нос старый еврейский мотивчик, привезенный откуда-то с российских окраин. Глюкман быстро зыркнул на своего друга, послюнявил нитку, вдел ее в иголку и продолжал гнусавить слащаво-заунывную мелодию. Для Шоненбаума забрезжил луч надежды: неужто кошмарные воспоминания оставили наконец беднягу?

Обычно, поужинав, Глюкман сразу отправлялся на матрац, который он бросил на пол в задней

комнате. Спал он, впрочем, мало, все больше просто лежал в своем углу, свернувшись калачиком, уставясь в стену невидящим взглядом, от которого самые безобидные предметы делались страшными, а каждый звук превращался в предсмертный крик. Но вот как-то вечером, уже закрыв ателье, Шоненбаум вернулся поискать забытый ключ и обнаружил, что друг его встал и воровато складывает в корзину остатки ужина. Портной отыскал ключ и вышел, но домой не пошел, а остался ждать, притаившись в подворотне. Он видел, как Глюкман выскользнул из-за двери, держа под мышкой корзину с едой, и скрылся в ночи. Вскоре выяснилось, что друг его уходит так каждый вечер, всякий раз с полной корзиной, а возвращается с пустой; и весь он при этом светится удовлетворением и лукавством, будто провернул отличное дельце. Сначала портной хотел напрямик спросить у Глюкмана, что означают эти ночные вылазки, но, вспомнив его скрытную и пугливую натуру, решил не задавать вопросов. Как-то после работы он остался дежурить на улице и, дождавшись, когда из-за двери выглянула осторожная фигура, последовал за ней.

Глюкман шагал торопливо, жался к стенам,

порой вдруг возвращался, сбивая с толку возможных преследователей. Все эти предосторожности только разожгли любопытство портного. Он перебегал из подворотни в подворотню, прячась всякий раз, когда его друг оглядывался. Вскоре стало совсем темно, и Шоненбаум едва не потерял Глюкмана из виду. Но все же каким-то чудом нагнал его, несмотря на полноту и больное сердце. Глюкман шмыгнул в один из дворов на улице Революции. Шоненбаум выждал немного и на цыпочках прокрался следом. Он оказался в караванном дворе большого рынка Эстунсьон, откуда каждое утро нагруженные товаром караваны отправляются в горы. Индейцы вповалку храпели на пропахшей пометом соломе. Над ящиками и тюками тянули свои длинные шеи ламы. Из двора был другой выход, против первого, за которым притаилась узкая темная улочка. Глюкман куда-то пропал. Портной постоял с минуту, пожал плечами и собрался было уходить. Путая следы, Глюкман изрядно покружил по городу, и Шоненбауму до дома было теперь рукой подать.

Только он вступил в тесную улочку, внимание его привлек свет ацетиленовой лампы, пробивавшийся сквозь подвальное окно. Рассеянно глянув на освещенный проём, он увидел Глюкма-

на. Тот стоял у стола и выкладывал из корзины принесенную снедь, а человек, для которого он старался, сидел на табурете спиной к окну. Глюкман достал колбасу, бутылку пива, красный перец и хлеб. Незнакомец, чье лицо все еще было скрыто от портного, сказал что-то, и Глюкман, суетливо пошарив в корзине, выложил на скатерть сигару. Шоненбаум с трудом оторвался от лица друга: оно пугало. Глюкман улыбался. Его широко раскрытые глаза, горящий, остановившийся взгляд превращали торжествующую улыбку в оскал безумца. В этот момент сидящий повернул голову, и Шоненбаум узнал Шультце. Еще секунду он надеялся, что, может, не разглядел или ему померещилось: уж что-что, а физиономию этого изверга он никогда не забудет. Он припомнил, что после войны Шультце как сквозь землю провалился; кто говорил, будто он умер, кто утверждал, что он прячется в Южной Америке. И вот теперь он здесь, перед ним: коротко стриженные ежиком волосы, жирная, чванливая морда и глумливая улыбочка на губах. Не так было страшно, что это чудовище еще живо, как то, что с ним был Глюкман. По какой нелепой случайности он оказался рядом с тем, кто с наслаждением истязал его, кто в течение

целого года, а то и больше упрямо вымещал на нем злобу? Какой потаенный механизм безумия вынуждал Глюкмана приходить сюда каждый вечер и кормить этого живодера, вместо того чтобы убить его или выдать полиции? Шоненбауму показалось, что он тоже теряет рассудок: все это было столь ужасно, что не укладывалось в голове. Он попробовал крикнуть, позвать на помощь, всполошить полицию, но сумел только разинуть рот и всплеснуть руками: голос не слушался его, — и портной остался стоять, где стоял, выпучив глаза и наблюдая, как недобитая жертва откупоривает пиво и наполняет стакан своему палачу. Должно быть, он простоял так, забывшись, довольно долго; дикая сцена, свидетелем которой он невольно стал, лишила его чувства реальности. Шоненбаум очнулся, когда рядом раздался приглушенный вскрик. В лунном свете он различил Глюкмана. Они смотрели друг на друга: один — с недоумением и негодованием, другой — с хитрой, почти жестокой улыбкой, победоносно сверкая безумными глазами. Неожиданно Шоненбаум услышал собственный голос и с трудом узнал его:

— Ведь он же пытал тебя каждый Божий день! Он тебя истязал! Рвал на части! И ты не выдал его

полиции?.. Ты таскаешь ему еду?.. Как же так? Или это я из ума выжил?

Хитрая ухмылка резче обозначилась на губах Глюкмана, и словно из глубины веков прозвучал его голос, от которого у портного волосы зашевелились на голове и едва не остановилось сердце:

— Он обещал, что в следующий раз будет добрее.

Слава нашим доблестным первопроходцам

Аэродром Истгемптона, штат Коннектикут, украшали флаги государств свободного мира, и трудно было сдержать волнение, глядя, как победно они развеваются в небе: казалось, их наполняет гордость и ликование человеческого рода, вложившего в сегодняшнее событие всю душу. Лозунги парили на гигантских воздушных шарах, реяли на верхушках флагштоков, самолеты вычерчивали их в небесной лазури буквами из белого дыма — это были приветствия и воодушевляющие призывы — неподдельное выражение доверия и патриотического пыла — в них звучали всенародная поддержка и одобрение, адресованные первопроходцам новых рубежей человеческого существования. Больше всего лозунгов было вдоль Триумфальной аллеи и вокруг почетной трибуны, возведенной на безукоризненном пляже с белым песком. «Слава нашим доблестным первопроходцам!», «Вы — наша гордость!», «Вперед, к новым мирным завоеваниям!», «Мы пойдем следом за вами!»,

«Каждый наш шаг направляет наука!», «Изменим жизнь к лучшему!», «Нет предела могуществу человека!» — и, хотя было понятно, что это лишь официальная церемония, призванная сплотить народ и способствовать росту его энтузиазма в тот день, когда сыновья этого народа отправлялись навстречу неизвестным испытаниям, все же в эти нелегкие часы было приятно ощущать оптимизм и единодушную поддержку великой страны.

Народ начал заполнять аэродром еще на рассвете, президентский самолет задерживался, его ждали с минуты на минуту. На каждом шагу расставили свои лотки продавцы рыбы, червей и мух, а по краю лётного поля были установлены переносные бассейны. Со времен тех нескольких крупных матчей по бейсболу, на которых он побывал в юности и о которых теперь вспоминал с большим удовольствием, Хорас Мак-Клар не видел такого скопления народа: даже встав на трибуне во весь рост и вытянув шею, он не мог разглядеть, где кончалась толпа. Семьи первопроходцев, естественно, пришли на стартовую полосу, чтобы проводить их, но Эдна вынуждена была остаться дома: ее организм только что подвергся тяжелому испытанию, и врач сказал, что ей вредно волноваться. Хорас Мак-Клар

вздохнул: он был очень привязан к жене. Но по всему было похоже, что она развивается в том же направлении, что и он, только, может быть, чуть медленнее, — Эдна всегда была немного медлительна, — так что их расставание было лишь временным. К тому же никто и не говорил об окончательном переселении: акция носила, главным образом, символический характер, и, по крайней мере первое время, родственники могли каждое утро беспрепятственно встречаться на берегу, вместе молиться и поддерживать друг дружку. Когда Хорас Мак-Клар узнал, что его признали достойным возглавить передовой отряд, объединивший самых прогрессивных сынов нации, его охватили противоречивые чувства: была, конечно, и гордость, но к ней примешивалась сильная растерянность — дело в том, что, несмотря на интенсивный тренинг, пройденный в центре переподготовки, где первопроходцам помогали приспособиться к новым психологическим условиям, он почти все время пребывал в крайнем смятении, которого даже не пытался скрывать.

Было страшно жарко. Хорас Мак-Клар крепко держал сына за ноги — малыш удобно устроился у него на спине, чтобы лучшее видеть. Почув-

ствовав в очередной раз знакомое ощущение удушья, а с ним и тревогу, которая стремительно перерастала в панику, Хорас Мак-Клар покинул трибуну, протиснулся сквозь толпу к ближайшему бассейну и погрузился в него вместе с Билли; это было блаженное ощущение и отлично успокаивало нервы, вот только бассейны были слишком маленькие, и места там не хватало: промышленность не успевала выпускать их в таком количестве, чтобы удовлетворить растущие потребности населения. Однако производителей упрекнуть было не в чем: фабрики работали дни и ночи напролет, поскольку для страны это был в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Но все развивалось куда быстрее, чем предполагали, — сказывался пресловутый стремительный исторический Прогресс, — и теперь нужно было наверстывать уже серьезное отставание. Поговаривали, что у русских дела с техникой обстоят куда лучше и что они добились значительных успехов в этой гонке со временем: если верить их статистике, у них уже на каждые пятьдесят жителей приходилось по бассейну. Временами Хораса Мак-Клара охватывала нешуточная тревога: ему не хотелось, чтобы страна повторяла старые ошибки, — русские уже оказались пер-

выми в космосе, а теперь вот опережали страны свободного мира в производстве товаров первой необходимости. Правда, обычно ему оказывалось достаточно погрузиться в бассейн, чтобы тревога мгновенно исчезла, а на смену ей пришло ощущение блаженства, физическая эйфория, которая прогоняла прочь любые заботы. Но тут были свои сложности — он не мог оставаться под водой больше получаса, после этого времени тревога возвращалась и начиналось удушье. Он не вполне понимал, что с ним происходит. Жизнь его день ото дня становилась сложней, но, как он сам сказал в прощальной речи, обращенной к соратникам, когда увольнялся с поста министра обороны, нужно держаться стойко и не поддаваться сомнениям и упадку духа. Его сын, например, уже прекрасно чувствует себя под водой: когда он дома, его никакими силами невозможно вытащить из бассейна. Итак, Хорас Мак-Клар в очередной раз пробрался сквозь толпу к бассейну, предоставленному в распоряжение первопроходцев, и с большим удовольствием провел там двадцать минут. Когда же он покинул бассейн, к неудовольствию Билли, то наткнулся на Стэнли Дженкинса, который был здесь в сопровождении всей семьи. Хорас Мак-Клар дружески

приветствовал его и удалился так быстро, как только мог. Дженкинсы были их соседями, но превосходные когда-то отношения между двумя семьями в последнее время несколько ухудшились. Например, не далее как вчера, пока Хорас Мак-Клар отдыхал на газоне, миссис Дженкинс укусила его жену. Бедняжка, конечно, не хотела ничего дурного, да и муж ее тут же пришел извиняться, но все же происшествие было весьма неприятное и всех расстроило. Тем более что Эдна как раз линяла и ее кожа была особенно чувствительной; мистеру Дженкинсу следовало бы все же быть повнимательней и лучше смотреть за своей женой или держать ее на привязи. Хорас Мак-Клар строго-настрого запретил Билли играть с их сыном, но малыш не желал слушаться. Дженкинс-младший, естественно, тоже был здесь, обвившись вокруг своего отца, и Билли заволновался:

— Пап, спусти меня вниз. Я хочу поиграть с Баддом.

— Тебе нельзя с ним играть, Билли. Я тебе это уже двадцать раз повторял.

— Почему?

— Ты же прекрасно знаешь, что он ядовитый. В прошлый раз, когда он тебя укусил, тебе при-

шлось восемь дней пролежать в постели.

— Но он же не специально!

— Конечно, но надо быть осторожнее. Тебе нужны приятели, которые будут на тебя похожи…

Тут совершил посадку президентский самолет, и Хорас Мак-Клар поспешно вернулся на трибуну. Когда он занял свое место, официальные лица уже вышли из самолета и направились к Триумфальной аллее. Во главе шагал Президент Соединенных Штатов, и Хорас Мак-Клар почувствовал, как его сердце забилось чаще, ему даже показалось, что кровь у него согрелась, — обычно это бывало обременительно, потому что начинала кружиться голова, но в этом ощущении внутреннего тепла было тем не менее что-то ободряющее и даже трогательное. Президент, еще довольно молодой человек, был избран на этот пост недавно, и его ощутимый перевес на выборах был в куда большей степени связан с его внешностью, чем с политической программой: у него были две руки, две ноги, лицо, на котором глаза, нос и рот располагались в точности на тех же местах, что у людей эпохи биологического застоя, но главным его достоинством, которое пробудило в избирателях ностальгическое умиление и обеспечило ему победу, была его кожа.

Выступление Президента вот-вот должно было начаться. Военный оркестр заиграл государственный гимн. Все встали. Хорас Мак-Клар снял шляпу, прижал ее к груди и тоже поднялся, хотя и ценой ощутимых усилий: он таскал на спине вес больше ста килограммов.

— Папа, — крикнул Билли, — кто это? Что он говорит? Что мы тут делаем?

Хорас Мак-Клар вздохнул: дети росли, практически ничего не зная об истории собственной страны. Он решил нанести визит директору Аквариума и высказать ему свои соображения по этому поводу. Молодому поколению предстояло жить в мире, совсем не похожем на тот, что был привычен их родителям, и было необходимо привить им некие элементарные представления, без которых невозможна жизнь, достойная звания Человека.

— Слушай, Билли, видишь вон того господина, что стоит на двух ногах, у него две руки, а кожа на лице мягкая, как на тех картинках в книжках по истории, которые вам показывают в школе. Это Президент Соединенных Штатов. Когда-то все люди выглядели как он, но ученые сделали важные открытия, и, благодаря влиянию на атмосферу и земную кору полезных излучений, человечество

миновало эпоху биологического застоя и резко шагнуло вперед по пути ускоренной эволюции — эти шаги называют трансформациями, — так мы смогли измениться, стать непохожими друг на друга, принять новый облик…

— Пап, я хочу есть!

Хорас Мак-Клар с грустью понял, что его рассказ нисколько не заинтересовал Билли, и не только потому, что ему всего десять лет, а в Аквариуме их плохо учат, но в основном потому, что Билли принадлежал к поколению, которое эволюционировало так быстро — сказывался пресловутый стремительный исторический Прогресс, — что найти с ним общий язык становилось все труднее и трудней.

— Пап, я есть хочу!

Хорас Мак-Клар порылся в карманах и вытащил пакетик сырого мяса, который жена приготовила ему перед выходом.

— Я хочу мух, — сказал Билли.

Хорас Мак-Клар вздохнул. Он никак не мог до конца привыкнуть к мысли, что его сын ест мух. Конечно, в этом не было ничего особенного, но у Хораса еще оставались, он сам это признавал, кое-какие предрассудки и стереотипы, от которых ему было не так-то просто избавиться. Именно по

этой причине он продолжал, например, носить пиджак, брюки, шляпу и даже некое подобие обуви, хотя все это причиняло ужасные неудобства и придавало ему весьма странный вид, что он и сам хорошо понимал. Но так уж получалось, что он себя чувствовал спокойнее, когда на нем были брюки, и психолог-консультант настоятельно рекомендовал ему продолжать носить их как можно дольше, по крайней мере пока он не отучится смотреть на себя в зеркало — патологическая и во всех отношениях вредная привычка, от которой его доктору пока не удалось его вылечить, хотя она уже неоднократно приводила Мак-Клара на грань глубокой депрессии. Он протиснулся к одному из передвижных лотков и купил пакетик мух. Билли тут же накинулся на его содержимое. Хорас Мак-Клар начинал и сам испытывать голод: он ничего не ел со вчерашнего дня. Но ему не нравилось есть на людях — он немного стеснялся. Процесс питания стал причинять ему массу неудобств. Конечно, нелегко было приспособиться к быстрой эволюции своего организма, к поворотному моменту эпохи биологического ускорения. Ему пришлось отказаться от некоторых своих любимых продуктов, которые он больше не мог усваивать, хотя и продолжал

испытывать к ним смутную тягу. Хорас Мак-Клар не был консерватором в буквальном смысле этого слова, но все же у него было неясное ощущение, что все идет как-то уж слишком быстро. Хотя ему ведь еще повезло: когда он думал о том, чем питаются некоторые другие первопроходцы, находившиеся на трибуне, по коже у него пробегали мурашки. За научные достижения пришлось дорого заплатить, но, в конце концов, игра стоила свеч. В любом случае нельзя поддаваться пессимизму и видеть во всем лишь темную сторону. Впрочем, напрасно он напоминал себе, что от силы пару поколений назад, в начале атомной эры, когда Америка и Россия еще двигались наугад в своем научном развитии и взрывали бомбы всего лишь мегатонн по сто, многие опасались, как бы человечество не погрязло в безликости и однообразии. Теперь ситуация резко изменилась. Началась, наоборот, невиданная индивидуализация. Можно даже сказать, что теперь уже никто не был похож на остальных. Достаточно было взглянуть на других первопроходцев, которые, расположившись на трибуне, внимательно слушали речь Президента, а потом должны были устремиться вперед по Триумфальной аллее, которую он вот-вот торжественно откроет; сразу

становилось ясно, какое потрясающее разнообразие ожидает человеческий род, стоящий на пороге новой жизни: у Стэнли Кубалика, например, анус выпирал сантиметров на десять, и в придачу имелись роскошные розовые клешни, у пастора Бикфорда было шесть рук и торчащий наружу пищевод, а у Мэтью Уилбфорса — зеленая чешуя — словом, в разнообразии сомневаться не приходилось. Некоторые утверждали, что если трансформации будут продолжаться в таком же темпе, как в последние десять лет, то, даже если ограничиться уже полученными дозами облучения, от привычного человечества вскоре останется только никому не нужная одежда; само же оно, не прекращая победоносного появления все новых видов и форм, проникнет под землю, в глубины вод, взлетит в небеса, заберется на деревья, где его встретят передовые представители, — тогда, впрочем, может сложиться ситуация, опасная для Запада, поскольку традиционные виды вооружения окажутся совершенно непригодны. Газеты писали, что китайцы уже работают не покладая рук, чтобы приспособить свою военную технику к новым биологическим формам. Все ждали, что Президент затронет этот вопрос в своей напутственной речи. Хорас Мак-Клар

вздохнул. Все было очень непросто. Он приложил все силы к решению этой проблемы, когда был министром обороны, и все же многие его критиковали, обвиняя в медлительности, хотя теперь никто не мог бы сказать, что его преемник преуспел больше него. Бесспорно, эволюция ставила перед США тяжелейшие проблемы, которые давали о себе знать мгновенно, не оставляя времени для адаптации, — так эволюция неумолимо толкала страну вперед. А теперь, когда возникли еще и сложности с биологическими различиями, в самом деле было от чего прийти в замешательство. И ладно бы еще, каждая семья развивалась в одном темпе и в одном направлении, тогда, несмотря на все изменения, можно было бы сохранить хотя бы первостепенные американские ценности, ведь привычного образа жизни, обреченного самим ходом исторического прогресса, в любом случае не сохранишь. Однако с каждым днем становилось все очевиднее, что различия безжалостно проникали внутрь семьи, хотя не стоило придавать значения паническим слухам, которые, вопреки усилиям цензуры, стали достоянием общественности, что многие пары не могут больше вести нормальную сексуальную жизнь и вынуждены выбирать себе самых невероятных

партнеров, чтобы только не препятствовать эволюции и обеспечить выживание человеческого рода хоть в какой-то форме. Хорас Мак-Клар сам был свидетелем трагического конфликта отцов и детей в семье своей двоюродной сестры Берты: дети иногда целыми неделями не желали слезать с дерева и шокировали всю округу, отказываясь прикрыть некоторые непристойные части тела, которые в процессе эволюции приобрели ярко-алый цвет, а пастор запретил им появляться в церкви, потому что они упорно хватали молитвенники хвостом, что оскорбляло чувства других прихожан, хотя некоторые совершенно справедливо замечали, что не так уж важно, как они держат молитвенник, если они все равно берут его с собой на дерево. Пока Хорас Мак-Клар оставался на своем посту, он всячески предостерегал население против витающих повсюду лживых ободряющих слухов, он стремился помешать обществу погрузиться в блаженное бездействие и забыть о нависшей над ним опасности. Поговаривали, например, что в Советской России процесс эволюции идет быстрее, чем в странах свободного мира, что добрая треть русских солдат уже превратилась во что-то вроде раков и потому не может использовать существующее

вооружение, а новые виды оружия, учитывающие эти изменения, еще не разработаны, так что у демократического лагеря есть время перевести дух и приспособить свой военный потенциал к новым биологическим структурам, не опасаясь внешней угрозы, на свежую голову.

— Пап, я хочу еще мух, — сказал Билли.

— Тебе уже хватит. Если съешь еще, тебе станет плохо. Дай мне послушать. Это очень важно.

И действительно, Президент как раз подошел к самому главному моменту своей речи. Есть все основания ожидать, говорил он, что нынешний год станет решающим. Безусловно, американская военная мощь ничуть не ослаблена и ни в чем не уступает советской. Но не следует закрывать глаза на то, что под усиливающимся день ото дня воздействием факторов эволюции наши вооружения рискуют оказаться бесполезными, поскольку людские ресурсы стремительно выходят из строя. Средства уничтожения достигли в наши дни небывалого совершенства, но те, кто должен ими управлять, столь стремительно меняют свои физические характеристики, что гарантии национальной безопасности становятся все более эфемерными. Необходимо признать, что многие из нас выступали за то, чтобы нанести удар

сразу, пока человечество в большинстве своем еще сохраняет привычный облик, пока у людей есть руки, способные управлять современной техникой, а также интеллект, позволяющий спланировать, начать и довести до конца подобную военную операцию, но в то же время высказывались и надежды на то, что, когда у людей исчезнут руки и интеллект, конфликта, возможно, удастся избежать. Хорас Мак-Клар испытывал странное чувство: ему показалось, что все это больше не имеет к нему отношения. Речь Президента, которую он поначалу слушал с таким вниманием, отвечавшая его собственным раздумьям и заботам, распадалась теперь в цепочку каких-то звуков, явно знакомых, но, что они значили вместе, ему было трудно понять. Может быть, он слишком долго оставался на воздухе: вновь подступило удушье, а вместе с ним — нарастающая тревога, похожая на панику. По сути, ему сейчас хотелось лишь одного — чтобы его оставили в покое, позволили отдыхать на дне домашнего бассейна, в окружении близких, ведь, в конце концов, следить за неприкосновенностью новых рубежей свободного мира — дело правительства, а ответственность за то, чтобы американская молодежь, до того как полностью покроется чешуей,

успела усвоить принципы, необходимые для выживания демократических институтов в новой среде обитания, несут педагоги. Хорас Мак-Клар угрюмо спрашивал себя, какой же будет его новая среда обитания. Ему по-прежнему нравились цветы, свет и воздух, в окружении которых жили его предки. С другой стороны, он не чувствовал себя абсолютно спокойно, если под животом у него не было некоторого количества свежего ила, к тому же он обожал плавать. Его психотерапевт делал все возможное, чтобы помочь ему приспособиться, но неоднозначность его предпочтений со временем лишь усиливалась, и временами он впадал в полную растерянность. Когда он возглавлял Министерство обороны, под его началом работали крупнейшие авторитеты в области генетических последствий воздействия радиации, и теперь бывшие сослуживцы часто навещали его в центре переподготовки, где первопроходцам предлагали интенсивный психологический тренинг; все его коллеги утверждали, что он переживает переходный период, и, как только минует кризис, который они называли «биологической растерянностью», он начнет чувствовать себя в новой среде обитания совершенно естественно. Но сам он не был до

конца в этом уверен. С ним случались настоящие приступы ужаса, когда его заставляли выйти из бассейна и он оказывался на воздухе, но ничуть не меньший ужас он испытывал, если его слишком надолго оставляли под водой. Еще он впадал в ярость, когда его психотерапевт или друзья начинали ему доказывать, что в его облике нет ничего неприятного; уж он-то знал, как обстоит дело. Он стыдился своей морщинистой головы, круглых неподвижных глазок настолько, что порой втягивал голову под панцирь и отказывался от еды и питья. Больше всего он нервничал, когда о нем говорили как о мученике науки, что как раз сейчас и прозвучало в президентской речи: он услышал, как Президент отчетливо произнес его имя, назвав его «мой дорогой друг Хорас Мак-Клар, верный сын Отечества». А он ведь просил только об одном — забыть о нем, оставить его в покое, не привлекать к нему внимания. Сначала он даже побаивался, как бы из-за его нового облика ему не пришлось предстать перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности; он хорошо запомнил, как в первый раз поговорил об этом с женой, и она всю ночь плакала, а наутро начались сложности. Как бы там ни было, он счел своим долгом срочно подать

в отставку и настоял, чтобы его незамедлительно приняли в Белом доме. Президент был, вероятно, предупрежден заранее, поскольку не выразил никакого удивления по поводу его вида. Хорас Мак-Клар спокойно и с достоинством объяснил сложившуюся ситуацию: он не может теперь оставаться в правительстве, поскольку больше не считает себя полномочным представителем американского народа на его сегодняшней стадии эволюции, и потому просит принять его отставку. Он не собирается оставлять никаких указаний политического характера, поскольку не хочет ничем связывать своего преемника и полностью полагается на Президента. И все же он позволит себе высказать одно пожелание: учитывая устрашающую скорость, с которой выходят из строя человеческие ресурсы в их привычном понимании, необходимо принять кардинальный меры, чтобы избежать катастрофического и необратимого изменения силового баланса в пользу русских. Они, конечно, развиваются в том же направлении, что и мы, но, пока их человеческий потенциал еще соответствует требованиям существующих вооружений, они, без сомнения, способны совершить неожиданное нападение… Он хотел бы, чтобы его правильно поняли: он

ни в коей мере не настаивает на упреждающем ударе, он просто призывает учесть худший вариант развития событий и усилить безопасность государства, пока человеческий интеллект, руки и головы еще позволяют это сделать… Президент выглядел очень взволнованным; дрожащей рукой он схватил телефонную трубку и вызвал своих советников, а когда они явились, предупредил их о конфиденциальности разговора и попросил министра обороны повторить им то, что было только что сказано. Хорас Мак-Клар еще раз очень спокойно изложил свою точку зрения. Советники слушали молча, разглядывая его в растерянности, которую даже не пытались скрывать.

— В любом случае, господин Президент, — заключил Хорас Мак-Клар, — к моему большому сожалению, я считаю своим долгом подать в отставку и прошу вас принять ее немедленно. В моем нынешнем виде я не могу считать себя полномочным представителем американского народа с присущей ему решительностью и динамизмом. Черепаха, господин Президент, — нет, нет, прошу вас, давайте смотреть фактам в лицо, — не может возглавлять Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в ны-

нешний критический для страны момент, когда все силы должны быть направлены на то, чтобы одержать верх в гонке вооружений и защитить наши демократические свободы. Еще два слова, господин Президент. В знаменитой речи, произнесенной вами при вступлении на этот пост, вы говорили о новых американских рубежах, которые ждут своих первопроходцев. Судьба, как видно, предназначила мне быть одним из них, и я должен вас заверить: чем бы ни были покрыты наши тела — чешуей, шерстью или перьями, — наши воздушные, наземные и военно-морские силы будут повсюду охранять новые рубежи с неколебимой стойкостью. Важнее всего, чтобы Соединенным Штатам удалось освоить новую среду обитания раньше русских, а не вытеснять их оттуда задним числом…

Президент и советники слушали его молча, а когда он встал, чтобы откланяться, окружили его со слезами на глазах, долго жали ему руку, а Президент назвал его великим сыном Отечества, выдающимся американцем и попросил его беречь силы, не переутомляться и не нервничать, ведь у русских тоже большие проблемы…

— Не знаю, известно ли вам, — сказал тогда Хорас Мак-Клар, — что у побережья Флориды

появились колонии розовых креветок протяженностью несколько километров?

Президент выглядел озадаченным. Нет, нет, он этого не знал, спецслужбы ничего ему не сообщили, но он непременно выяснит…

И что вчера у берегов Калифорнии — ну да, прямо в территориальных водах Америки, — выловили рыбу никогда не встречавшегося ранее вида? Необходимо, чтобы ее немедленно допросили в ФБР…

Внезапно у Хораса Мак-Клара возникло ощущение, что он уже сказал достаточно и Президент искренне озабочен, — он очень побледнел, — и Мак-Клар с гордо поднятой головой направился к двери. Ему удалось не опуститься на четвереньки и удалиться вертикально, с достоинством и даже некоторой небрежностью, несмотря на чудовищный вес, который он волок на спине, — теперь дело не ограничивалось грузом ответственности. Президент проводил его до лестницы и отдал указание доставить его домой в своем личном автомобиле. Дома Хорас Мак-Клар обнаружил заплаканную Эдну — ей было явно трудно свыкнуться с происходящим. С тех пор он прошел в специальном центре тренинг, предназначенный для первопроходцев новых американских ру-

бежей, и теперь находился на стартовой полосе вместе с другими участниками, слушая Президента, который как раз завершал свою речь о блестящем прорыве.

— Когда ваши предки сошли с борта «Мэйфлауэра»[7] и ступили на землю Американского континента, даже самые отважные из них не могли предположить, в какой необыкновенный этап своей истории вступает человечество, какая эпоха открытий, побед и великих свершений открывается перед ними… Так вот, начинание, в котором участвуете вы, — еще более необыкновенно… Вы обеспечите сохранение, неизменность и окончательную победу в водных глубинах тех моральных и духовных ценностей, которые завещали нам наши предки. Вперед, герои новых рубежей человечества! СЛАВА НАШИМ ДОБЛЕСТНЫМ ПЕРВОПРОХОДЦАМ!

В толпе поднялся гул одобрения, зазвучал государственный гимн, а Президент тем временем шагнул вперед и перерезал ленту, натянутую поперек Триумфальной аллеи. Волнение прошло по рядам первопроходцев; одновременно задвигались лапы, клешни, усики, щупальца, хвосты,

[7] Примечания: 7

«Мэйфлауэр» — корабль, доставивший первых английских поселенцев в Америку в 1620 году.

плавники, и Хорас Мак-Клар, которого толкали со всех сторон одновременно, инстинктивно втянул голову под панцирь, а потом вытянул шею и дал последние наставления Билли:

— Держись рядом со мной, Билли. И когда будем в воде, не уплывай далеко. А главное, не зарывайся в ил. Оставайся там, где дно песчаное. Вспомни, мой мальчик, чему тебя учили в Аквариуме. И будь осторожен, поначалу все может оказаться не так просто.

— Вперед и помните, что именно на вас надеется страна! Мы в вас верим! Мужайтесь! Прочь сомнения! Не забывайте — каждый наш шаг направляют ученые, поэтому человеческий род выйдет из нынешних суровых испытаний с честью, как и раньше, а враги обнаружат, что и в океанских глубинах мы столь же решительны и верны бессмертным идеалам! Вперед, к новым мирным завоеваниям! СЛАВА НАШИМ ДОБЛЕСТНЫМ ПЕРВОПРОХОДЦАМ!

Тут Хораса Мак-Клара сильно ударили по голове, и он возмущенно обернулся к соседу.

— Эй вы, нельзя ли поосторожнее? — завопил он, внезапно выплескивая все раздражение, которое так долго сдерживал, и растерянность от всего, что с ним произошло. — И что вы, кретин

несчастный, собираетесь делать с этой чертовой клюшкой для гольфа в вашем-то виде, да еще под водой, а?

Стэнли Кубалик, который упрямо сжимал клешнями клюшку для гольфа, бросил на него злобный взгляд:

— Мой психоаналитик посоветовал мне взять с собой в новую среду обитания какой-нибудь привычный предмет, хотя бы на первое время, чтобы спокойнее себя чувствовать. А вам что, жалко? Считайте, что я взял с собой клюшку для гольфа из сентиментальности. Вот и Президент только что сказал, что мы должны хранить верность традиционным ценностям, слышали? Надо иметь рядом что-то надежное. И я не виноват, что вы всем дорогу загораживаете, старая вы черепаха!

— Господа, господа, не ссорьтесь! — воскликнул пастор Бикфорд, который пробегал мимо прихрамывая, потому что две лапы у него были заняты двумя томиками Библии, отпечатанными на пластике, специально для первопроходцев. Останемся друзьями, господа, останемся друзьями! У нас ведь у всех по-прежнему одинаковый мозг! И какой бы странный вид ни приняли наши конечности, это ведь все те же руки, верно? И наши голосовые связки никуда не исчезли! Какие тут

еще нужны доказательства того, что нас хранит Святое Провидение? На нас возложен священный долг, и мы…

— Прекратите вы когда-нибудь, пастор, тыкать мне в глаз вашим пищеводом? — проревел Хорас Мак-Клар.

— О, прошу прощения!

— Кстати, руки, а точнее, пальцы, у нового поколения уже исчезают, заметило существо вроде паука, бегущее рядом с Хорасом Мак-Кларом, в котором тот с трудом узнал своего бывшего научного консультанта Майка Капровица.

— Это вредные и беспочвенные слухи! — воскликнул пастор Бикфорд. Главное — сохранить в целости нашу веру в человека… Важна не внешность, какой бы она ни была, а душа, ведь это в нее Бог вдохнул жизнь…

— Кстати, еще никто не доказал, что исчезновение рук и интеллекта положит конец свободному миру, — заявил розовый краб, который, зажав клешнями портрет Линкольна из нержавейки, пробивал себе дорогу между другими первопроходцами, расталкивая всех подряд без всякого почтения к ближним. — Мы еще и не такое видали!

Хорас Мак-Клар уже собрался угостить его в

ответ какой-нибудь колкостью, но вдруг почувствовал под брюшком приятную прохладу, которая его мгновенно успокоила: он добрался до воды. Для начала он лениво поплыл. Билли, естественно, исчез. Хорас Мак-Клар взглянул вокруг с некоторой опаской: тут было множество странных и довольно подозрительных существ. Передовые представители русских могли спокойно похитить малыша, чтобы подвергнуть идеологической обработке. С другой стороны, было все же маловероятно, что им удалось бы подобраться так близко к американскому побережью. Он вынырнул на поверхность и рассеянно сглотнул пару мух. В голове у него разлилась блаженная легкость; он медленно погрузился в ил и поддался приятной и целительной истоме.

* * *

— И в любом случае не позволяйте ему есть мух, — сказал доктор, выходя из комнаты больного. — Вряд ли это ему полезно. И не оставляйте его в ванне больше чем на десять минут. Если вы его там оставите, он уже никогда не захочет выходить. Если позвонят из Белого дома, объясните, что у пациента кризис и что сейчас невозможно предсказать, к каким последствиям это приведет

и когда…

— Такой выдающийся человек! — вздохнула медсестра. — И занимал такой ответственный пост… Что мы скажем его жене?

— Скажите, что его организм переживает тяжелый кризис, но у нас есть надежда. Ему может стать лучше самое раннее дней через пятнадцать. Эти внезапные трансформации почти всегда тяжело сказываются на психике. Кстати, попросите доктора Стайна уделить мне сегодня минутку. У меня снова пробивается чешуя на левом боку, и, я думаю, надо принять какие-то меры. Еще скажите ему, что у номера пятьдесят шесть очень тяжело идет линька: смещение плавников и преждевременное, на мой взгляд, отвердение панциря очевидно, потребуется операция.

— Ну и времена! — прошептала сестра.

— Да уж, — ответил доктор, — у папочки кончилось терпение.

Я ем ботинок

Передо мной расстилалась Аризонская пустыня со своими терновниками и колючками — жалкая растительность и иссохшая земля. Такой ландшафт вполне соответствует моему возрасту, душевному состоянию и настроению. Но как раз под влиянием этого скудного и бесплодного ландшафта я имел неосторожность рассказать жене случай из своего далекого прошлого. Одним словом, я дал волю ностальгии и, быть может, определенному возмущению против признаков старости на моих висках и в моем сердце.

Короче говоря, я принялся рассказывать жене историю своей первой любви.

Я заявляю, право же не хвастая, что в девятилетнем возрасте, подобно самым великим влюбленным всех времен, совершил ради своей возлюбленной поступок, которому, насколько мне известно, не было равного. Я съел, чтобы доказать ей свою любовь, ботинок на резиновой подошве.

Уже не первый раз я съедал ради нее всякие предметы.

За неделю до того я съел целую серию баварских

марок, которые с этой целью украл у дедушки, а за две недели до того, в день нашей первой встречи, я съел дюжину земляных червей и шесть бабочек.

Теперь следует объясниться.

Я знаю, когда речь заходит о любовных подвигах, мужчины всегда склонны к бахвальству. Послушать их, так их отвага не знала границ. И попробуйте усомниться — они не поступятся ни единой мелочью. Вот почему я и не прошу верить тому, что помимо этого я съел ради своей возлюбленной японский веер, пять метров шерстяной нитки, фунт вишневых косточек (она ела вишни, а мне протягивала косточки), а также трех редких рыбок, которых мы поймали в аквариуме ее учителя музыки.

Моей маленькой подруге было только восемь лет, но требовательность ее была огромна. Она бежала передо мной по аллеям парка и указывала пальцем то на кучу листьев, то на гравий, то на клочок газеты, валявшийся под ногами, и я безропотно повиновался. Помнится, она вдруг стала собирать маргаритки, и я с ужасом смотрел, как букет рос у нее в руках; но я съел и маргаритки под ее неусыпным взором, в котором тщетно пытался обнаружить огонек восхищения.

Никак не проявив благодарности, она убежала вприпрыжку, а через некоторое время вернулась с полудюжиной улиток и протянула их мне повелительным жестом. Тогда мы спрятались в кустах, чтобы нас не увидели гувернантки, и мне пришлось повиноваться — улитки проследовали положенным путем; все это я проделал под ее недоверчивым взглядом, так что о мошенничестве не могло быть и речи.

В то время детей еще не посвящали а тайны любви, и я был уверен, что поступаю как принято. Впрочем, я и сегодня еще не убежден, что был не прав. Ведь я старался как мог. И, наверное, именно этой восхитительной Мессалине я обязан своим воспитанием чувств.

Самое грустное заключалось в том, что я ничем не мог ее удивить. Едва я покончил с маргаритками и улитками, как она проговорила задумчиво:

— Жан-Пьер съел для меня пятьдесят мух и остановился только потому, что мама позвала его к чаю.

Я содрогнулся.

Я чувствовал, что готов съесть для Валентины — именно так ее звали пятьдесят мух, но я не мог вынести мысли, что, стоит мне отвернуться, как она обманывает меня с моим лучшим другом.

Однако я проглотил и это. Я начинал привыкать.

— Можно, я поцелую тебя?

— Ладно. Но не слюнявь мне щеку, я этого не люблю.

Я поцеловал ее, стараясь не слюнявить щеку. Мы стали на колени за кустами, и я целовал ее еще и еще. А она крутила серсо вокруг пальца.

— Сколько уже?

— Восемьдесят семь. Можно поцеловать тебя тысячу раз?

— Ладно. Только поскорее. Это сколько — тысяча?

— Я не знаю. Можно, я тебя и в плечо поцелую?

— Ладно.

Я поцеловал ее и в плечо. Но все это было не то. Я чувствовал, что должно быть еще что-то, мне неизвестное, но самое главное. Сердце у меня отчаянно колотилось, я целовал ее в нос и волосы и чувствовал, что этого недостаточно, что нужно что-то большее; наконец, потеряв голову от любви, я сел в траву и снял ботинок.

— Я могу съесть его ради тебя, если хочешь.

Она положила серсо на землю и присела на корточки. Я заметил в ее глазах огонек восхищения. Большего я не желал. Я взял перочинный ножик и начал резать ботинок. Она глядела на меня.

— Ты будешь есть его сырым?

— Да.

Я проглотил кусок, за ним другой. Под ее восхищенным взглядом я чувствовал себя настоящим мужчиной. Отрезав следующий кусок, я глубоко вздохнул и проглотил его; я продолжал это занятие до тех пор, пока сзади не раздался крик моей гувернантки и она не вырвала ботинок у меня из рук. Мне было очень плохо в ту ночь, и, поскольку пришлось выкачивать содержимое моего желудка, все доказательства моей любви, одно за другим, предстали перед родительским взором.

Вот какими воспоминаниями я поделился с женой, сидя на террасе нашего дома в Аризоне и глядя на скудный ландшафт пустыни, словно с приближением шестого десятка я ощутил вдруг неодолимую потребность оживить в памяти свежесть давно минувшей юности. Жена выслушала мой рассказ молча, но я заметил на ее лице мечтательное выражение, показавшееся мне странным. С тех пор она почему-то резко переменила отношение ко мне. Она почти со мной не разговаривала. Быть может, я поступил нетактично, рассказав ей о своих прошлых увлечениях, но на склоне дней, после тридцати лет

совместной жизни, мне кажется, я заслуживал снисхождения.

Встречая ее взгляд, я читал в нем упрек и даже страдание, а порою глаза ее наполнялись слезами. Через несколько дней после нашего разговора она слегла. Она отказалась от врача и лишь смотрела на меня негодующим взором. Она лежала у себя в комнате, с большой грелкой, свернувшись в клубок; когда я входил, она бросала на меня оскорбленный взгляд и поворачивалась спиной, так что мне оставалось лишь смотреть на седые завитки у нее над ухом. К тому времени обе наши дочери уже вышли замуж и мы жили вдвоем. Я, как призрак, бродил из комнаты в комнату. Я позвонил старшей дочери в надежде хоть от нее узнать, в чем же я провинился, — дело в том, что моя жена и старшая дочь ежедневно целый час обсуждали по телефону мои недостатки. Но на этот раз дочь не была в курсе дела. По этому поводу она слышала от матери лишь ничем не примечательную на первый взгляд фразу:

— Твой отец никогда меня по-настоящему не любил.

Я сошел на террасу, тяжело опустился в кресло и принялся размышлять. Я глядел на расстилавшийся передо мною ландшафт, с его кактусами,

бесплодной землей и потухшими вулканами, и не спеша, тщательно проверял свою совесть. Потом я вздохнул. Поднялся, пошел в гараж и сел в машину. Я отправился в Скоттсдейл и вошел в магазин «Джон и К°».

— Мне нужна, — сказал я, — пара ботинок на резиновой подошве. Что-нибудь полегче. Для мальчика девяти лет.

Я взял сверток и поехал домой. Затем прошел на кухню и добрых полчаса кипятил ботинки. Затем я поставил их на тарелку и решительным шагом вошел в комнату жены. Она бросила на меня печальный взгляд, в котором вдруг зажглось удивление. Она приподнялась на постели. Глаза ее засверкали надеждой. Торжественным жестом я вынул из кармана перочинный ножик и сел у нее в ногах. Потом взял ботинок и принялся за него. Проглотив кусок, я бросил патетический взгляд на жену: в конце концов, мой желудок был уже не тот, что в те, давние времена. В ее взоре я прочел лишь величайшее удовлетворение. Я закрыл глаза и продолжал жевать с мрачной решимостью по поддаваться бегу времени, седине и старческой помощи. Я говорил себе, что, собственно, нет никаких оснований склонять голову перед недомоганиями, слабостью сердца и всем

прочим, что связано с возрастом. Я проглотил еще кусок. Я не заметил, как жена взяла у меня из рук перочинный нож. Но открыв глаза, я увидел, что в руках у нее второй ботинок и она принимается уже за второй кусок. Она улыбнулась мне сквозь слезы. Я взял ее руку, и мы долго сидели так в сумерках, глядя на пару детских ботинок, которые стояли перед нами на тарелке.

Письмо к моей соседке по столу

Мадам!

Я в свете новичок. Однако несколько раз я оказывался за столом рядом с Вами. Вы молоды, красивы, неизменно восхитительно одеты, и Ваши драгоценности делают честь Вашему мужу.

В первое же наше знакомство — на этапе семги — Вы сообщили мне без обиняков:

— Я вас ничего не читала.

Я сказал себе: вот так рождается чистая дружба. Ко мне вернулась надежда, а я вернулся к семге.

Едва только появился омар, Вы обронили многообещающую улыбку:

— Теперь я стану покупать Ваши книги.

Я был счастлив, что всего за несколько движений вилкой сумел Вас заинтересовать. Но Вы продолжали:

— Скажите, как это к вам приходят все ваши мысли?

Омар, скажу Вам, был великолепен. Свежайший омар: хозяйка дома — жена министра. Так вот, едва Вы задали мне свой вопрос, омар стал тухнуть прямо у меня в тарелке. На глазах. Нельзя так поступать с женой министра.

Все же я дотянул до конца ужина. Хотя и не смог объяснить Вам, как мне приходят в голову мысли: кто ж их знает. Назавтра я узнал от нашей общей знакомой, принцессы Диди, что я Вас «очень разочаровал».

Неделю спустя я снова попал в Вашу компанию. Вы молниеносно пошли в наступление:

— Почему вы всегда такой мрачный? Как будто вам все опротивело. У вас неприятности?

«Всегда» после двух встреч, мне кажется, слегка чересчур. Однако хотелось бы на этот предмет объясниться. Начнем с того, что у меня такая физиономия, я тут ни при чем. Она от рождения. Она снаружи и необязательно отражает глубину натуры.

Вид у меня, как Вы правильно заметили, и правда иной раз такой, будто я мучаюсь зубами. Видите ли, у меня нервная работа. Легко понять: в романе десять, двадцать, пятьдесят героев. Если я выгляжу озабоченным, это означает, что я думаю о своих персонажах. Когда я думаю о себе, я, как правило, помираю от хохота.

Третьего дня в «Жокей-клубе» я имел беседу с одной из Ваших приятельниц, графиней Биби. Поболтав чуток, она прямодушно сообщила мне:

— А вы совсем не похожи на то, что про вас

говорят.

Я побледнел: я и не подозревал, что это всем известно. Я полагал, что спрятал труп, который предварительно разрубил на куски, в надежном месте. Ан нет, речь-то, оказалось, о другом:

— Вы скорее милы.

Это был один из чудовищнейших моментов в моей жизни. Сколько вульгарности, дурных манер и вдобавок семнадцать лет дипломатической службы, и за пятнадцать минут беседы с таким трудом заработанная репутация — коту под хвост! Что я мог сделать? На миг я подумал, не укусить ли мне ее за ухо, но решил, что она может неправильно это истолковать.

Еще одно. Вышло так, что я женат на киноактрисе, да еще и восхитительной красоты. Позавчера у маркизы Рокепин Вы на миг оторвались от ванильного мороженого:

— Скажите, вы ревнуете, когда на экране кто-то целует вашу жену?

— Ну что вы, мадам, вовсе нет. Не более чем ваш муж, когда вы отправляетесь на осмотр к врачу.

Мне показалось, что Вы хотели залепить мне пощечину. За что, Бог мой? Вы задали мне конкретный вопрос, я дал Вам конкретный ответ. Почему же на следующий день Вы сказали ви-

контессе Зизи, что я невежа?

Зизи, кстати, меня защищала. Если я правильно понял, она ответила Вам, что я никакой не невежа. А просто свинья.

Мадам, я не свинья. Я не открываюсь людям, с которыми едва знаком, вот и все. Вы покупаете мои книги, прекрасно. Но разрешите мне, мадам, остаться по крайней мере в бюстгальтере. Чтение моих книг не дает Вам никакого права раздевать меня, да еще наспех. «В душе вы романтик, да?», «В душе вы нигилист, да?», «В душе вы разочарованный, да?» И все это между сыром и фруктами. Мадам, если бы все это было у меня в душе, я бы давно лег на операцию.

Вчера я нарвался на Вас у Базилеусов. Вы только что прочли мой новый роман… Там героиня — американка, которая пьет, травится наркотиками и вообще ничем не брезгует. Я едва успел поцеловать Вам руку, как Вы уже встали в боевую стойку:

— Эту американку вы писали с вашей жены, да?

Сообщаю, что героиня моего следующего романа — нимфоманка. Давайте, мадам. Постарайтесь. «Прыгайте к выводам», как говорят в Англии. Но если моя жена на этот раз даст Вам пару оплеух,

то не ограничивайтесь тем, что обзовете меня невежей. Потребуйте у своего мужа, чтобы он вызвал меня на дуэль. Я выберу оружие, которое, мне кажется, стало сегодня оружием «большого света», — кухонный нож!

Мне не хотелось бы закончить это письмо, не ответив на последний вопрос, который Вы задали мне на другой день у графини Бизи, чей муж кто-то там по свекле.

Вы упомянули один из моих романов, где все происходит на парижском дне.

— Как же получается, что вы, профессиональный дипломат, так хорошо знакомы со средой сутенеров, девиц легкого поведения и преступников?

Мадам, откроюсь Вам. Прежде чем стать профессиональным дипломатом, я был сутенером, девицей легкого поведения и преступником. Единственное, что меня удивляет: как, идя такими темпами, Вы не обвинили Достоевского в убийстве старухи процентщицы при помощи топора, а Микеланджело — в соучастии в распятии Христа?

Примите, мадам, уверения в моей совершеннейшей искренности.

Жизнь и смерть Эмиля Ажара

(Эссе)

Я пишу эти строки в такое время, когда наш мир, отсчитывающий в своем вращении последнюю четверть века, все настойчивее ставит перед писателем вопрос, убийственный для всех видов художественного творчества: кому это нужно? От всего того, к чему литература стремилась и в чем видела свое назначение — содействовать расцвету человека, его прогрессу, — не осталось сегодня даже красивой иллюзии. И я вполне отдаю себе отчет в том, что эти страницы могут показаться нелепыми к моменту их публикации, ибо, коль скоро я собрался объясняться перед потомками, значит, я вольно или невольно предполагаю, что для них будут представлять какой-то интерес мои книги и среди них четыре романа, написанные мною под псевдонимом Эмиль Ажар.

Однако объясниться я все-таки хочу, хотя бы из чувства благодарности к моим читателям, а также потому, что пережитая мною эпопея, за единственным, насколько мне известно, исключением — я имею в виду Макферсона и его

детище, мифического поэта Оссиана, от лица которого Макферсон написал знаменитые поэмы, потрясшие в начале прошлого века всю Европу, — не имела себе равных за всю историю литературы.

Сразу же приведу здесь один эпизод, дабы показать — и это было, кстати, одной из причин всей моей затеи и ее успеха, — до какой степени писатель может быть рабом, по прекрасному выражению Гамбровича, «лица, которое ему сделали». Лица, не имеющего никакого отношения ни к его сочинениям, ни к нему самому.

Когда я работал над своим первым «ажаровским» романом «Голубчик», я еще не знал, что опубликую его под псевдонимом. Поэтому я не таился, рукописи у меня, как обычно, валялись где попало. Одна моя приятельница, мадам Линда Ноэль, навестившая меня на Майорке, видела на столе черную тетрадь с четко выведенным на обложке названием. Потом, когда вокруг имени Эмиля Ажара, этого загадочного невидимки, поднялся шум, о котором можно получить представление, полистав газеты тех лет, мадам Ноэль безуспешно всюду ходила и говорила, что автор книги — Ромен Гари, что она это *видела, видела* собственными глазами. Никто и слушать ничего

не желал, хотя эта благородная женщина приложила немало усилий, чтобы восстановить меня в моих правах. Но куда там: Ромен Гари никогда бы не смог такое написать! Именно это, слово в слово, заявил Роберу Галлимару один блестящий эссеист из Н. Р. Ф. Другой в разговоре все с тем же моим другом, который был мне очень дорог, сказал: «Гари — писатель на излете. Этого не может быть». Я как автор был сдан в архив, занесен в каталог, со мной все было ясно, и это освобождало литературоведов от необходимости разбираться в моих произведениях, вникать в них. Еще бы, ведь для этого пришлось бы перечитывать! Делать им, что ли, нечего?

Я настолько хорошо это знал, что на протяжении всей истории с Ажаром (четыре книги) ни минуты не опасался, что самый обыкновенный и несложный анализ текстов может меня разоблачить. И я не ошибся: никто из критиков не услышал моего голоса в «Голубчике». Ни один — в «Жизни впереди». А ведь там та же самая манера чувствовать, что и в «Европейском воспитании», «Большой раздевалке», «Обещании на рассвете», и зачастую те же фразы, те же обороты, те же характеры. Достаточно было прочесть «Пляску Чингиз-Кона», чтобы немедленно опо-

знать автора «Жизни впереди». Друзья молодого героя в «Тревоге царя Соломона» все вышли из романа «Прощай, Гари Купер»: Ленни там думает и говорит в точности так же, как Жанно в «Царе Соломоне» — это заметил и сказал моему сыну Юг Море, в то время семнадцатилетний ученик лицея имени Виктора Дюрюи. Весь Ажар уже заключен в «Тюлипе». Но кто его читал среди профессионалов?

Легко вообразить мое ликование. Самое сладостное за всю мою писательскую жизнь. На моих глазах происходило то, что в литературе обычно происходит посмертно, когда писателя уже нет, он никому не мешает и ему можно наконец воздать должное.

Только год спустя после выхода первого «Ажара», когда я для ведения переговоров с издателем попросил своего двоюродного племянника Поля Павловича вступить в игру и наше родство стало известно — только тогда подозрения впервые пали на меня. Но меня это не обеспокоило: я знал, что эти дамы и господа не станут заниматься своим прямым делом и сравнивать тексты.

Но по-настоящему я насладился плодами своей дерзости после выхода в свет «Псевдо». Притом что я изобразил там самого себя — таким, каким

воображают меня критики, и все они узнали меня в персонаже дядюшки по прозвищу Тон-Тон Макут, — никому из них не пришло в голову, что это не Поль Павлович сочинил Ромена Гари, а Ромен Гари сочинил Поля Павловича. Критик из «Экспресса» объявил, ссылаясь на обмолвку человека, связанного профессиональной тайной, что у Ажара в его предыдущих книгах были «помощники», в числе коих, конечно, и я, но «Псевдо» Ажар явно написал в одиночку, без соавторов. Эта книга, по его выражению, была в спешке «выблевана» автором, ибо у молодого писателя от славы голова пошла кругом, он отверг «помощников», отказался следовать их советам и взялся за дело сам, кое-как. Отсюда, провозглашает наш критик, и отсутствие «уловок», «ремесла», которое чувствовалось, по его мнению, в двух первых книгах, и сырой, «выблеванный» текст. Пресвятая Богородица! Уж что как не «Псевдо» написано старым прожжённым профессионалом! «Уловка» состояла в том, чтобы ее не заметили. Потому что этот роман о смятении, панике молодого человека перед жизнью я писал с двадцати лет, бросал, начинал снова, таскал за собой рукопись через войны, по морям и континентам с ранней юности, настолько ранней, что друзья моих

студенческих лет Франсуа Бонди и Рене Ажид спустя четыре десятилетия узнали в «Псевдо» два отрывка, которые я не включил когда-то в «Вино мертвецов»: о насекомых-полицейских, ползающих в борделе, и о Христе, мальчике и спичке — я их читал им в своей студенческой комнате на улице Роллен в 1936 году.

Добавлю для любителей извращений, что этот мсье Галле, дабы окончательно добить Ажара, ибо тот находился тогда в центре внимания, напоминает, что именно я, его дядюшка, написал «прекрасную книгу» «Обещание на рассвете». Эту «прекрасную книгу» он разнес в пух и прах, когда она вышла…

В «Псевдо» все за небольшим исключением есть плод литературной фантазии. Образ Поля Павловича, его неврозы, психозы, «сдвиги в сознании» и больничные перевоплощения мною полностью выдуманы, причем без его согласия. Я написал книгу за две недели в моем женевском убежище и позвонил ему.

— У меня в романе действует вымышленный Поль Павлович. Совершенно безумный. Мне нужно было передать острое чувство тревоги, и я наградил им тебя. Заодно я рассчитался и с самим собой, точнее, с легендой, которую мне навязали.

Себя я тоже придумал от начала до конца. Получились два романных персонажа. Ты не против? Цензуры не будет?

— Не будет.

Я восхищаюсь душевной силой — английское слово «fortitude» подошло бы больше, — с которой мой двоюродный племянник согласился прослыть «чокнутым».

Единственные подлинные детали — это те, которые касаются наших общих родственников: я имею в виду моего дядю по матери Илью Осиповича Овчинского, приходящегося Полю дедом. Этот кусок был написан в 1959 году и должен был войти в «Обещание на рассвете». Я тогда сообщил об этом матери Поля, моей двоюродной сестре, но ее задело, что я пишу о ее отце в юмористическом тоне. Я и сам сознавал, что предавать огласке некоторые обстоятельства было в тот момент невозможно. Поэтому я отложил эти страницы в сторону и включил их в «генеалогическое древо» в «Псевдо». Я получил сведения о лечении психических заболеваний у доктора Бертанья, точно так же как во время работы над «Светом женщины» меня просвещал относительно афазии доктор Дюкарн из Сальпетриер.

Только когда «Голубчик» был уже закончен, я

принял решение опубликовать его под псевдонимом без ведома издателя. Я чувствовал, что писательская известность, вся система мер и весов, по которой оценивались мои книги, «лицо, которое мне сделали», несовместимы с самим духом этого романа.

Я уже дважды пытался вырваться, скрывшись под псевдонимами: Фоско Синибальди для «Человека с голубем» — было продано пятьсот экземпляров, и Шатан Бога для книги «Головы Стефании», которую начали покупать только тогда, когда я признался в авторстве.

Итак, я знал, что «Голубчик», первый роман неизвестного писателя, будет продаваться плохо, но инкогнито было для меня важнее. Поэтому я не стал посвящать в свой план издателя. Рукопись была прислана из Бразилии стараниями моего друга Пьера Мишо. С автором, неким молодым скитальцем, он якобы познакомился в Рио: тот был не в ладах с правосудием, и путь во Францию ему был заказан.

Рецензия читательского комитета в издательстве Галлимара оказалась посредственной. Только страстная настойчивость первой рецензентки, которая читала роман до передачи его августейшему комитету, убедила в конце концов

издателя, решившего отказаться от публикации, все-таки порекомендовать книгу издательству «Меркюр де Франс». Энтузиазм Мишеля Курно довершил дело.

Пьер Мишо, не имея возможности сослаться на чей-то весомый «авторитет», вынужден был согласиться на сокращения. Выбросили по нескольку фраз там и тут, одну главу целиком в середине и одну в конце. Эта последняя «экологическая» глава была для меня важной. Но, должен признать, что ее «положительный» аспект, ее «программность» — там, где герой, превратившись в питона, оказывается на трибуне экологического митинга, — действительно выбивалась из общего тона книги. Поэтому я хочу, чтобы «Голубчик» продолжал выходить в том виде, в каком он впервые был представлен публике. «Экологическую» главу можно опубликовать отдельно, если мое творчество еще будет кому-нибудь интересно.

Книга вышла. Я не ждал ничего. Единственное, чего мне хотелось, это иногда иметь возможность погладить переплет. Людям нужны друзья.

Что же до парижской критики…

Многие и без меня говорили о «терроре в литературе», о круговой поруке, о клане «своих»,

о петухах и кукушках, о возвращении долгов или сведении счетов… На самом деле все это относится не к критике как таковой, а к тому, что называется «парижизмом». Вне Парижа нет ничего похожего на это мелкое стремление к всемогуществу. Давайте в который раз помечтаем здесь о децентрализации. В Соединенных Штатах не Нью-Йорк, а критики всех больших и малых городов страны решают участь книги. Во Франции властвует далее не сам Париж, а парижизм.

Однажды я удостоился в некоем еженедельнике целой полосы похвал — речь шла о моем романе «Европа». Через год у меня выходят «Заклинатели». Желчный разнос на всю страницу той же «критикессы» в том же еженедельнике. Ладно. Через пару недель, самое позднее через месяц, я встречаю эту даму на обеде у мадам Симоны Галлимар. Она выглядит смущенной.

— Вас, наверно, удивила моя суровость по отношению к «Заклинателям»?

— М-м…

— Я дала такой прекрасный отзыв о «Европе», *а вы меня даже не поблагодарили…*

Красиво, не правда ли?

Вполне понятно, что после подобных случаев и еще множества других мне стало противно

печататься. Моей мечтой, которую я так и не смог никогда осуществить по материальным причинам, было писать в свое удовольствие и ничего никогда не публиковать при жизни.

Я был у себя в Симарроне, когда мне позвонила Джин Сиберг и сказала, что «Голубчик» восторженно принят критикой и «Нувель Обсерватер» даже указывает на Рэймона Кено или Арагона как на вероятных авторов, ибо «это может принадлежать перу только большого писателя». Вскоре я узнал из газет, что Эмиль Ажар — это не кто иной, как Хамиль-Раджа, ливанский террорист. Что он подпольный хирург, делающий нелегальные аборты, молодой уголовник, а то и сам Мишель Курно собственной персоной. Что книга — плод «коллективного» творчества. Я говорил с одной женщиной, у которой была любовная связь с Ажаром. По ее словам, он великолепен в постели. Надеюсь, я не слишком ее разочаровал.

Мне пришлось обратиться к адвокату Жизель Алими, чтобы внести изменения в договор Ажара с «Меркюр де Франс». Договор был составлен на пять романов, и, хотя я подписал его вымышленным именем, он тем не менее обязывал меня, как Ромена Гари, выполнять эти условия. Я выбрал мэтра Жизель Алими, потому что ее адвокатская

деятельность во время войны в Алжире говорила в пользу невесть как возникшего, но очень меня устраивавшего мифа о ливанском террористе Хамиль-Радже.

В первый раз мое имя было произнесено только год спустя, когда уже вышла «Жизнь впереди», с появлением на сцене фигуры Павловича, признанием его авторства журналом «Пуэн» и открытием нашего родства.

Теперь надо сделать попытку объясниться всерьез.

Мне надоело быть только самим собой. Мне надоел образ Ромена Гари, который мне навязали раз и навсегда тридцать лет назад, когда «Европейское воспитание» принесло неожиданную славу молодому летчику и Сартр написал в «Тан модерн»: «Надо подождать несколько лет, прежде чем окончательно признать „Европейское воспитание“ лучшим романом о Сопротивлении…» Тридцать лет! «Мне сделали лицо». Возможно, я сам бессознательно пошел на это. Так казалось проще: образ был готов, оставалось только в него войти. Это избавляло меня от необходимости раскрываться перед публикой. Главное, я снова затосковал по молодости, по первой книге, по новому *началу*. Начать все заново, еще раз все

пережить, стать другим — это всегда было величайшим искушением моей жизни. Я читал на обороте обложек своих книг: «… несколько насыщенных человеческих жизней в одной… летчик, дипломат, писатель…» Ничего, ноль, былинки на ветру и вкус бесконечности на губах. На каждую из моих официальных, если можно так выразиться, репертуарных жизней приходилось по две, по три, а то и больше тайных, никому неведомых, но уж такой я закоренелый искатель приключений, что не смог найти полного удовлетворения ни в одной из них. Правда заключается в том, что во мне глубоко засело самое древнее протеистическое искушение человека — стремление к многоликости. Неутолимая жажда жизни во всех ее возможных формах и вариантах, жажда, которую каждое новое испытанное ощущение лишь разжигает еще сильней. Мои внутренние побуждения были всегда противоречивы и увлекали меня одновременно в разные стороны. Спасли меня — я имею в виду мое психическое равновесие, — пожалуй, только сексуальность и литература, чудесная возможность все новых и новых воплощений. Сам для себя я постоянно был другим. И когда я обретал некую константу: сына, любовь, собаку Санди, то моя привязанность к

этим незыблемым опорам доходила до страсти.

В таком психологическом контексте рождение, короткую жизнь и смерть Эмиля Ажара, быть может, объяснить легче, чем мне самому поначалу казалось.

Это было для меня новым рождением. Я начинал сначала. Все было подарено мне еще раз. У меня была полная иллюзия, что я сам творю себя заново.

Моя мечта о «тотальном романе», охватывающем и персонаж, и автора, про которую я так пространно писал в эссе «В защиту Сганареля», стала наконец достижима. Поскольку я публиковал одновременно и другие книги, подписывая их «Ромен Гари», раздвоение было полным. Я заставил лгать название романа «За этим пределом ваш билет недействителен». Я одержал верх над ненавистными мне пределами и над «раз и навсегда».

Те, кому сейчас, когда все уже давно закончилось, это еще интересно, могут заглянуть в прессу тех лет, чтобы представить себе восторги и любопытство, шум и ярость, которые поднялись вокруг имени Эмиля Ажара после выхода «Жизни впереди». Сам же я, переживая как бы свое второе пришествие, невидимый, неизвестный, смотрел

словно зритель на свою вторую жизнь. Сначала я назвал эту книгу «Нежность камней», совершенно забыв, что уже использовал однажды это название в романе «Прощай, Гари Купер». Мне напомнила об этом Анни Павлович. Я решил, что все, игра проиграна. И, дабы запутать следы, нарочно вернулся к этой ошибке в «Псевдо».

Я тогда счел, что мне остался всего один шаг до «тотального романа», обрисованного на четырех с половиной сотнях страниц эссе «В защиту Сганареля», и надо лишь пойти чуть-чуть дальше, сделать выдумку еще правдоподобней и дать жизнь этому picaro,[8] одновременно автору и персонажу, которого я там описал. Мне казалось также, что если Эмиль Ажар на некоторое время продемонстрирует себя во плоти, прежде чем снова растаять в тумане тайны, то это укрепит миф, окончательно развеет подозрение о «крупном писателе, затаившемся в тени», которого тщились отыскать журналисты, и я смогу продолжать писать своих «Ажаров» в полном покое, посмеиваясь в кулак. Итак, я попросил Павловича, у которого было «лицо» такое, какое надо, ненадолго взять на себя роль Ажара, с тем чтобы

[8] Примечания: 8
Пройдоха, обманщик, герой плутовских романов *(исп.).*

потом исчезнуть, дав прессе вымышленную биографию и сохраняя строжайшее инкогнито. Его дело объяснить, если он когда-нибудь пожелает, зачем, давая в Копенгагене интервью «Монду», он обнародовал свою подлинную биографию и почему, хотя я был против, позволил напечатать свою фотографию. С этой минуты мифический персонаж, которого я так старательно создавал, прекратил свое существование и его место занял Поль Павлович. Выяснить, кто он такой, ничего не стоило — и наше родство выплыло на свет. Я защищался, как дьявол, публиковал опровержение за опровержением, используя в полной мере свое право на анонимность, и в конце концов сумел убедить пишущую братию, причем даже без особого труда, поскольку я давно уже всем надоел и им хотелось чего-нибудь «новенького». Желая понадежнее обезопасить себя, я написал «Псевдо» как «автобиографический» роман Поля Павловича, и таким образом мне удалось наконец осуществить замысел романа о юношеской тревоге, о котором я грезил со времени своих двадцати лет и «Вина мертвецов». Но я уже знал, что Эмиль Ажар обречен. У меня к тому моменту были написаны семьдесят страниц «Тревоги царя Соломона», но я тогда отложил их в сторону и

вернулся к этому роману лишь через два года, не устояв перед потребностью в творчестве, которая оказалась сильнее, чем все разочарования.

Почему — вероятно, удивится кто-то — я готов был дать погибнуть источнику, который еще не иссяк во мне и продолжал приносить идеи и темы? Черт побери, да потому, что он мне *больше не принадлежал.* Теперь вместо меня мою фантастическую эпопею переживал другой. Материализовавшись, Ажар вытеснил меня из мифа…

Поль Павлович слился с персонажем. Его «ажаровская» внешность, лукавство, темперамент, вопреки очевидности, всех убедили и отвлекли от меня всеобщее внимание.

По правде говоря, я не думаю, чтобы полное «раздвоение» было вообще возможно. Слишком глубоко уходят корни литературных произведений, и как бы далеко ни вели их ответвления, какими бы несхожими они ни казались, им не укрыться от настоящего исследования и того, что некогда именовали «анализом текста». Так, готовя к изданию сборник своих небольших вещей, я наткнулся на следующий рассказ, напечатанный в «Франс-Суар» в 1971 году:

«Кстати, о возрасте… Мой друг дон Мигель де

Монтойя живет в Толедо под Алькасаром, на одной из тех узких улочек, где когда-то раздавались шаги Эль Греко. Дону Мигелю 96 лет. Уже три четверти столетия он вырезает шахматы и фигурки Дон Кихота, который есть Эйфелева башня испанских сувенирных лотков.

Я торжественно заявляю перед Господом и людьми, что дон Мигель — самый непоколебимый оптимист, какого я когда-либо встречал… В свои девяносто шесть лет он каждый месяц ходит к знаменитой гадалке, которая предсказывает ему будущее, глядя в хрустальный шар… Я поговорил с ней однажды после его визита. Она чуть не плакала.

— Ну что, по-вашему, я могу ему предсказать в его возрасте, как вы думаете? Новую любовь? Богатство? Счастье и благополучие?

— А почему вы не скажете ему правду? Почему не скажете, что не видите НИЧЕГО?

В следующее воскресенье я заехал в Толедо к дону Мигелю, который сам похож на одного из тех Дон Кихотов, которых он смастерил за свою жизнь тысяч сто пятьдесят… Он только что вернулся от гадалки. Его дети, внуки и правнуки выглядели совершенно убитыми, а дон Мигель восседал на зеленом кожаном чемодане, новень-

ком, который он только что купил, и весь сиял.

— Похоже, мне предстоит дальняя дорога, — объяснил он…»

Это один к одному глава XV, где мсье Соломон идет к гадалке!

Тем временем ко мне уже начали подбираться всерьез. Потому что существует не только парижская критика, у которой есть дела поважнее, чем сравнивать тексты: существуют еще все те, у кого находится время читать и кто не ограничивается скольжением по поверхности последних новинок.

Однажды ко мне пришла молодая красивая журналистка из «Матч», Лор Буле. Ей нужно было сделать несколько снимков и взять у меня интервью по поводу «Света женщины». Когда беседа для печати была закончена, эта юная и застенчивая с виду женщина в два счета доказала мне, что Ромен Гари и Эмиль Ажар — одно и то же лицо. Ее анализ был краток и беспощаден: начала она с моей вечной присказки «Я очень легко привязываюсь», которую она обнаружила в «Большом Миляге» и в «Обещании на рассвете».

После чего преспокойно продолжала:

— Эта фраза мадам Розы, которую так часто цитируют критики: «Чтобы бояться, необязательно

иметь причину» — вы ее уже использовали в «Повинной голове», когда Матье говорит:

«С каких это пор человеку нужна причина, чтобы бояться?»

… Я вдруг вспомнил, что эту проклятую фразу произносит еще и персонаж, которого играет Жан-Пьер Кальфон в моем фильме «Птицы улетают умирать в Перу».

Но я и бровью не повел. Система обороны была у меня наготове. Мне уже случилось однажды прибегнуть к ней в споре с молодой преподавательницей французского Женвьев Балмес, дочерью моей подруги юности. Она указала мне на то, что отношения между Момо и мадам Розой в «Жизни впереди», отношения между юным Люком Матье и несчастным Тео Вандерпюттом в «Большой раздевалке» и между мною самим и моей матерью в «Обещании на рассвете» строятся совершенно одинаково, и в продолжение всего завтрака, на который я ее пригласил, перечисляла совпадения тем и мелких подробностей у Гари и Ажара, вплоть до малейших свойственных мне словечек.

Я изобразил авторское тщеславие, которое всегда выглядит убедительно.

— Вы совершенно правы, — заявил я. — Никто

до сих пор не заметил, как велико мое влияние на Ажара. А уж в тех случаях, которые вы назвали, можно даже говорить о прямом плагиате. Но, в конце концов, это начинающий автор, и я вовсе не намерен протестовать. Вообще, влияние моего творчества на молодых писателей не оценено критикой в полной мере. Я рад, что вы это поняли…

Прекрасные глаза Лор Буле внимательно изучали меня. Надеюсь, когда эти строки будут опубликованы, сбудется ее мечта стать выдающейся журналисткой. На протяжении всего нашего разговора я был в нее безумно влюблен. Я очень легко привязываюсь.

Не думаю, что мне удалось обмануть ее. Скорее, она из чувства такта пощадила меня…

Потом это посыпалось со всех сторон. Учитель французского на пенсии мсье Гордье отметил, что талисман Момо «зонтик Артур» уже был у Жозетты в «Большой раздевалке»… И что весь Ажар заключен в «Пляске Чингиз-Кона», вплоть до «еврейской ямы», которая играет там такую же роль, как в «Жизни впереди»… И что тот кусок, где Момо отдает свою собаку богатой даме, чтобы собака жила счастливее, чем он сам, это буквальный «рецидив» эпизода из «Большой

раздевалки», где Люк отдает собаку американцу, чтобы тот увез ее с собой в сказочную страну изобилия.

Я в очередной раз ответил, что для молодого автора это простительно…

— Поймите, мсье, это вполне естественно, что писатель моего уровня оказывает влияние на молодых…

Я мог бы привести еще много фрагментов, где совпадения не ускользнули бы от настоящего специалиста. Вплоть до питона Голубчика, который фигурирует под именем Пита Душителя в моей автобиографической повести «Белый пес»… Я подружился с ним в Лос-Анджелесе. Нужно было только одно: читать…

Я не собираюсь заниматься здесь текстологическим анализом собственного творчества — теперь, спустя столько времени после моей смерти, у меня другие заботы. Мне хочется только сказать о том, что мой сын Диего понял в тринадцать лет, читая «Жизнь впереди»: Момо и мадам Роза — это он и его старая гувернантка-испанка Эухения Мунос Лакаста, которая так же нежно любила его. Со своими больными, изуродованными флебитом ногами она без конца сновала вверх и вниз по лестнице, ведущей из комнат моего

сына в мои. Как и мадам Роза, «она заслуживала лифта».

Какими бы разными ни казались «Голубчик» и «Корни неба», обе эти книги — один и тот же вопль одиночества. «Людям нужны друзья», — говорит Морель, и то, что Кузен в конце концов отождествляет себя с питоном, беззащитным, по сути дела, существом, объясняется тем, что и в «Корнях неба», и в «Голубчике» проблема «охраны природы» ставится прежде всего в плане человеческого братства, чтобы не было на свете отверженных и униженных…

Остается лишь сказать о моей «второй Гонкуровской премии», которой была удостоена «Жизнь впереди». Когда вышел «Голубчик», он возглавил как фаворит список претендентов на премию имени Теофраста Ренодо. Опасаясь, что такая реклама может нарушить мое инкогнито, я снял свою кандидатуру, написав письмо, якобы полученное из Бразилии, которое я отослал в жюри и в «Меркюр де Франс». И немедленно пожалел об этом. Я подрезал своей книге крылья. Моему «Голубчику» были так нужны друзья, а я обрек его на одиночество. Через год, когда встал вопрос о «Гонкуре», мое родство с Ажаром было уже всем известно, и, если бы я опять проделал

тот же маневр, мотив оказался бы ясен всем: ведь я уже получил Гонкуровскую премию за «Корни неба». Но главная причина, по которой я не захотел вмешиваться, может быть выражена так: ну и пусть, идите вы все к черту!

Только благодаря настойчивости мэтра Жизель Алими я поручил Павловичу «отказаться» от премии.

Я глубоко признателен всем своим близким. Ибо их было много — посвященных в тайну и сохранивших ее до конца. Это, прежде всего, Мартин Карре, моя секретарша, которой я диктовал все романы Ажара или отдавал перепечатывать их по рукописям. Это, разумеется, Пьер Мишо и его сын Филипп. Друзья моей юности Рене, Роже и Сильвия Ажид. Джин Сиберг, моя бывшая жена, и ее муж Денис Берри. А также все те, кто, не нарушая, естественно, профессиональной тайны, хранил рукописи и юридические документы: мэтр Шарль-Андре Жюно в Женеве, мэтры Сидней Дэвис и Роберт Ланц в Нью-Йорке, мэтр Арриги, для которого это было одним из последних его дел, и его молодой сотрудник мэтр Репике. Мой сын Диего, который, несмотря на юный возраст, довольствовался тем, что подмигивал мне, когда по телевидению критик из «Лир», не оставив

камня на камне от творчества Гари, которого защищала Женвьев Дорманн, воскликнул: «Ах! Ажар все-таки несравнимо талантливее!»

Бывали и смешные моменты. Например, когда Павлович потребовал у меня рукописи, чтобы не зависеть от меня, и я дал ему только первые черновые наброски и то, сняв предварительно с них копию, чтобы не зависеть от него. Сцена, когда Джин Сиберг упаковывала вышеупомянутые рукописи, которые я по частям относил в сейф, была достойна пера Куртелина.

Или, например, слухи, доходившие до меня со светских обедов, где жалели беднягу Гари, который, конечно, не без грусти и некоторой зависти следит за успехами своего племянника, взлетевшего на литературный небосклон со скоростью метеора, в то время как его собственная звезда закатилась, что он и признал в романе «За этим пределом ваш билет недействителен»…

Я славно повеселился. До свидания и спасибо.

21 марта 1979 г.

Ромен Гари